1 руб. 50 коп.
Индекс 73607

ISSN 0130-217X

Кубань

5 1991



Май
1991

Издается с 1945 г.



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ —
ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ
И КОЛЛЕКТИВА РЕДАКЦИИ

Содержание

Николай КОНДРАТЕНКО,
народный депутат СССР, председатель
Краснодарского краевого Совета народных депутатов.

ЧАС ВЫБОРА

Тотальный кризис, охвативший все сферы нашего общества, принял поистине угрожающие размеры и практически привел страну к национальной катастрофе. Сегодня уже вряд ли у кого возникнет сомнение в том, что это шестилетнее пустословие с больших и малых трибун о построении гуманного демократического социализма и правового государства, о радикальной экономической реформе, региональном хозрасчете и других многообещающих шагах перестройки есть не что иное, как ложь и лицемерие, в очередной раз заведшие наш народ в трагический тупик.

И самое странное в этой ситуации то, что из самых верхних эшелонов власти постоянно идут заверения в том, что все эти трудности — временные, что мы идем правильным путем построения социализма в его ленинском понимании и с него ни в коем случае не свернем.

Из уст Президента и его очередной команды мы слышим о реформировании нашей экономики, получаем нескончаемое количество различных концепций, программ, разработок, моделей. На деле же они лопаются со скоростью мыльных пузырей, способствуют развалу народного хозяйства страны, спаду производства, всеобщему товарному дефициту.

Из уст Президента мы слышим заверения о надёжной социальной защите населения и особенно его малоимущих слоев, о милосердии, а в жизни видим все более ускоряющийся процесс обнищания миллионов рабочих, крестьян, интеллигенции, студентов, пенсионеров, многодетных семей при одновременном обогащении разного рода дельцов и жуликов, которых нам выдают за спасителей нации, предпринимателей нового типа и столпов будущей отечественной экономики.

Из уст Президента мы слышим о свободе слова, плюрализме, а в действительности получаем оголтелое очернительство нашей истории, пропаганду антикоммунизма и национализма, мелкобуржуазных ценностей жизни, элементарное хамство и бескультурье, порнографию со страниц печати и с экранов телевизоров.

Из уст Президента мы слышим об укреплении обороноспособности страны, а на деле видим неслыханный черный напор на наши Вооруженные Силы, разрушение оборонного комплекса под видом конверсии, падение престижа профессии защитника Родины, словом, подрыв одного из основных устоев государства. И это в обстановке, когда планета полна неожиданностей.

Из уст Президента мы слышим заверения о том, что наше общество твердо встало на путь построения правового государства, а на практике видим сотни тысяч беженцев, нескончаемые людские страдания и жертвы, изгнание из мест проживания — и это уже не в сталинские времена — целых народов и этносов.

С какими же чувствами воспринимает Михаил Сергеевич телевизионные кадры о безжалостном глумлении боевиков-уголовников над беззащитными стариками, женщинами и детьми?

Из уст Президента мы узнаем о прорыве в международных делах, о достигнутых здесь крупных успехах, а в действительности видим явное падение авторитета нашего государства как равного партнера в разрешении международных конфликтов и определении мировой политики. В русле нового мышления мы даже умудрились сдать НАТО Германскую Демократическую Республику вместе с новыми советскими танками Т-72 и самолетами МИГ-29, которыми теперь ФРГ торгует у наших южных границ. Кстати, на территории края на вооружении практически еще нет таких танков. Можно и нужно согласиться с нашим уходом из Восточной Европы, но почему та сторона не уходит от наших границ и из Западной Европы?

К сожалению, не вселяют надежды первые шаги и российского руководства. Прошедший год его деятельности был ознаменован острой политической борьбой, и в значительно меньшей степени проявлялась забота о сдерживании экономического спада, снижении уровня жизни народа.

В числе других этому есть, на наш взгляд, и политическое объяснение. Оно состоит в том, что бывшие советодатели Президента, эти неугомонные "прорабы перестройки" — Арбатов, Заславская, Бунич, Шмелев, Тихонов и другие яркие представители академической когорты, их новая смена — Попов, Собчак, Старовойтова и им подобные — теперь уже плотно окружили российского лидера в ранге членов Высшего консультативно-координационного совета и навязывают ему ту же разрушительную для нашего Отечества политику.

Эти хорошо спаянные представители кастовой элиты, в число которых следует отнести тщательно оберегаемых руководством страны Яковлева, Медведева, Примакова, Абалкина, Шаталина и других, еще вчера выступавших в качестве непререкаемых авторитетов-теоретиков и вдохновенных певцов эпохи волюнтаризма, затем застоя и стагнации, одурачив народ, в очередной раз перелицевались — теперь уже в демократов — и дружно оплевывают то, чему недавно призывали людей верить.

Возникает законный вопрос — неужели все происходящее сегодня в стране можно назвать перестройкой и новым мышлением? Ведь уже дошли до того, что перед каждым из нас вплотную встала проблема элементарного выживания и защиты не только от голода, но и от бандитского ножа!

И в этом нет никакого преувеличения, попытки разжечь страсти. Страну охватил невиданный разгул преступности, причем уже в годы перестройки появились новые ее виды, о которых мы знаем лишь понаслышке — рэкет, сутенерство, теневая экономика, цеховики и биржевики, угонщики самолетов и многое другое, что стало неотъемлемой реальностью наших дней.

Такого наглого, беспардонного и жестокого наступления преступного мира, которое угрожает существованию и самого государства, в нашей истории еще не было.

Приведу лишь некоторые цифры по нашему краю. В 1946 году, сразу после окончания войны и накануне голода, было зарегистрировано 15,4 тыс. преступлений, в 1970 году — 21,2, в 1980 году — 37,5, в 1990 году — 62,3 тысячи преступлений.

Каковы же истоки и корни поистине ураганного нарастания масштабов преступности? Искать их, несомненно, нужно в экономике, идеологии и политике, социальной сфере, напрямую увязывая происходящие здесь процессы с возникновением и расцветом криминогенных зон и промыслов.

Именно здесь кроется первопричина того хаоса, в котором мы оказались и где правит бал "война законов", а по сути, беззаконие, политическое, правовое, экономическое бескультурье, беззащитность граждан.

Обилие кабинетных, построенных на загадках и предположениях моделей и концепций, при отсутствии четкой экономической программы действий, в которую бы поверил и которую бы принял народ, уже привело к тому, что вместо рынка мы получили уродливое нагромождение талонов, карточек, купонов и визиток. То есть, по сути дела, никак не можем вырваться из объятий все той же административной системы распределения.

Недавно Президент страны изложил очередную, теперь уже антикризисную программу. В ней, в частности, предусматривается: восстановить разрушенные хозяйственные связи, ужесточить дисциплину поставок по договорам, сделать многое другое, что активно уничтожалось все эти шесть лет. Согласитесь, логики и здравого смысла здесь мало. Зачем, спрашивается, понадобилось сначала разрушать, а затем преодолевать трудности по восстановлению порушенного?

Мощным фактором, оказывающим воздействие на криминогенные процессы, является политическая обстановка в стране, воцарившиеся здесь безбрежный плюрализм и анархия.

Неуверенность людей в будущем, другие тенденции, связанные с разрушением установившейся идеологии, наступлением антикоммунизма, множеством различных создающихся и распадающихся, разделяющихся и вновь соединяющихся политических организаций, групп, течений, партий, ассоциаций, форумов, создают благоприятную обстановку для различного рода дельцов от политики и идеологии, жуликов всех мастей и лжедемократов.

Используя все средства воздействия на массы, формирования общественного мнения, и в первую очередь печать, радио, кино, телевидение, они насаждают в обществе культ жестокости и насилия, секса, рэкетирства, вседозволенности. На авансцену жизни выходит принцип — нравственно все то, что прибыльно. Он особенно губителен для подрастающего поколения, в сознание которого внедряются принципы буржуазной морали — корыстолюбие, соблазн легкого и быстрого обогащения и другие, что напрямую связано с необычайным ростом преступности среди молодежи. И не случайно "помолодели" такие тяжкие виды преступлений, как бандитизм, рэкет, изнасилования, убийства.

Кто же выступает в роли скрытых ранее, а теперь уже вышедших на политическую арену дирижеров этого губительного процесса? При всей кажущейся пестроте и запутанности вопроса ответ на него весьма прост — достаточно привести для вашего размышления цитату из книги Дугласа Рида "Спор о Сионе". Она гласит так:

"Чтобы забрать в руки общественное мнение, надо привести его в состояние полного разброда, дав возможность высказывать со всех сторон столько противоположных мнений, чтобы народы окончательно потеряли голову в этом лабиринте, придя к заключению, что лучше всего не иметь мнения в политических вопросах, понять которые не дано обществу, ибо их понимают лишь те, кто управляет обществом."

И далее приводится такое наставление: "Нужно настолько умножить народные слабости, пороки и страсти, настолько распылить все установившиеся формы гражданского общежития, чтобы никто не мог в наступающем хаосе найти своего места, и люди в конечном итоге перестали бы понимать друг друга. Всем этим мы так истерзаем народы, что они будут вынуждены передать нам власть."

Рид писал о сионизме — самом изощренном

политическом течении современности. На эту тему я уже высказывался не один раз. Но сегодня, давая характеристику политической обстановке, хотел бы остановиться на ней более подробно, и не только с целью показа взаимосвязи политических процессов и состояния преступности, но и для того, чтобы еще раз приковать внимание людей к этой теме.

Не исключаю, кто-то может спросить, причем здесь сионизм, если разговор о борьбе с преступностью, экономическими саботажами и т. д.? Поверьте, она имеет самое прямое отношение к обсуждаемому вопросу. И надо сегодня не шептать, а говорить о ней в полный голос, ибо когда прольется кровь наших детей, — будет поздно; главное преступление конца XX столетия к тому времени уже свершится.

Проблема сионистской опасности — этой реальной угрозы для судеб русского народа — всячески замалчивается. Как раньше ничего нельзя было говорить против Сталина, так сегодня лучше молчать о сионизме. Обратите внимание: можно поносить все, что хотите и кого хотите, причем в самых разных изданиях, в самой грубой форме: идею коммунизма и имя Ленина, демократов и коммунистов, можно тряхнуть и самого Президента. Но только одна тема — тема сионизма — это священное табу. Сюда не суйся. Цвет русской нации, писатели, художники — Распутин, Бондарев, Белов, Лихоносов, Знаменский и другие — криком кричат о сионизме, призывая к бдительности. Но молчит Президент, молчит "свободная" пресса. А ведь и усиленно, и усиленно пропагандирует Солженицына и Аксенова, Буковского и Абрама Терца, Войновича и Иосифа Бродского.. Но почему не хотим слышать других, уважаемых и хорошо знакомых народу?

Рискнувшему сказать о сионизме тут же навешивается грязный ярлык антисемита, на него обрушивается желтая перестроечная пресса с обвинением во всех мыслимых и немыслимых грехах.

Еврей — это национальность. Представители этого народа в большинстве своем такие же талантливые, трудолюбивые, честные и порядочные люди, как и представители любого другого народа. И я преклоняю колени перед моими соратниками еврейского происхождения, которые настояли на моем выступлении по данному вопросу.

Сионизм — это политика. Политика злая, хитрая, коварная, жестокая и опасная. Это то же самое, что немец — нация, фашизм — политика. Смешение политического и национального в этом вопросе как раз и мешает разоблачению сионизма. И это тоже его тактика. К тому же сионизм может быть и русским.

Сделайте наложение упомянутой и приведенных выдержках из книги тактики захвата власти на нашу нынешнюю действительность, сравните методы и способы достижения результата, и вы убедитесь в том, что процессы идут по давно намеченной и отработанной схеме.

Нетрудно догадаться и о том, кто выступает в роли локомотива этого напористого, оголтелого движения. Достаточно только проанализировать состав руководящих лиц партии и государства, начиная с 1917 года, и сразу станет понятным, что в разные годы советской истории от 70 до 90 процентов среди них были представители сионократии. И это на первых ролях, а можете себе представить их число на второстепенных и третьестепенных постах! Вы, без сомнения, поймете всю глубину трагедии русского народа.

Обстановка не изменилась и в наши дни: представители этих кругов снова выступают в роли советодателей, разработчиков законов, бесчисленных программ, моделей, концепций, которые сама жизнь опровергает. И ничего удивительного в этом нет, ведь они действуют по заданной программе, о которой, к сожалению, не всякий знает. Процитирую лишь небольшую выдержку из своеобразного наставления, так называемого "Катехизиса":

"Больше шума и словесной мишуры, больше непонятного и наукообразного, создавайте теории, гипотезы, направления, школы, методы, реальные и нереальные. Пусть не смущает вас, что они никому не нужны, пусть не смущает вас, что о них завтра забудут. Придет новый день, придут новые идеи. В этом выражается могущество нашего духа, в этом наше самоутверждение, в этом наше превосходство. Пусть русские ломают головы в поисках рациональных зерен в наших идеях, пусть ищут и находят то, чего там нет. Завтра мы дадим новую пищу их примитивным мозгам".

Кое-кто спросит: где же искать этих самых сионократов? Россияне, не ищите их, увязывая этот вопрос с какой-то определенной партией, ассоциацией, созданной вами. Они там, где идет борьба за власть. Вели борьбу за власть большевики — они были среди них, ныне рвутся к власти другие силы — они тоже здесь. Причем и в первом, и во втором случае пристраиваются во главе движения.

Назвав себя и этот раз демократами, используя искусно созданные ими же самими трудности, эти антисоветские курощупы задались целью подменить перестройку построением совершенно чуждого нам строя, как их отцы и деды уже сделали это, подменив и дискредитировав социализм троцкистской моделью общества.

Они практически уже разложили нашу экономику и культуру, подвергают народ неслыханному моральному террору, калечат его историческую память и будущее. Эти люди тесно сомкнулись с теневиками, коррумпированной верхушкой государственного и хозяйственного

аппарата, их поддерживают влиятельные зарубежные круги.

Нельзя не заметить, что эти силы хорошо организованы, быстро перегруппировываются. Фактически развалив Союз, они теперь с удвоенной силой взялись за Россию, которая во все века стояла, как кость в горле, у международного сионизма на пути к мировому господству.

Сегодня представители сионократии ловко играют под демократов. Но суть вопроса даже не в этом, а в том, что многие наши демократически настроенные соотечественники, поверив в искренность намерений организаторов своих движений, и не подозревают, что они стали жертвой очередного обмана.

Особую ставку на подмогу сионизм делает сегодня на предателей от Компартии, покинувших ее ряды. Похоже, им хорошо известна психология предателя. Злыми были фашисты во время войны, но непревзойденная злость к соотечественникам была у предателей. Оно и понятно: плюнув в колодец, оторвавшись от своего берега, предателю ничего не остается делать, как плыть в холодное половодье на тот берег, сметая в злобе все и всех на своем пути.

Да, была и есть партия, но были и Троцкие, Свердловы, Каменевы, Зиновьевы, все до одного поменявшие фамилии, что стало впоследствии традицией. Именно они небезуспешно разделили русского на красного и белого, ввергли народ в братоубийственную войну. Да и как было безграмотному мужику и казаку разобраться в словоблудии разных цветов и оттенков? И сейчас, когда у нас по два высших образования, это не всегда удается сделать...

Тема сионизма весьма животрепещущая — и не только для русского народа — давно и достаточно глубоко разработана разными авторами в разных странах, в разное время. Назову лишь некоторые работы.

В. И. Ленин: "Нужна ли "самостоятельная политическая партия" еврейскому пролетариату", "Положение Бунда в партии", "Максимум беззастенчивости и минимум логики".

Книга группы авторов "Антикоммунизм и антисоветизм — профессия сионистов", Г. Бакануркий "Сионизация иудаизма", В. Бегун "Ползучая контрреволюция" и "Вторжение без оружия", В. Большаков "Критика сионизма в советской историографии" и его же "Сионизм на службе антикоммунизма", В. Волков, А. Сазонов "Критика реакционной идеологии и антисоветской пропаганды международного сионизма", Э. Володин, В. Попков "Правда о сионизме", Л. Востоков "Антинародная деятельность сионистов в России", В. Гура "Сионизм против социализма и национально-освободительного движения", Е. Евсеев "Расизм под голубой звездой" и его же "Антикоммунизм — основное содержание сионистского расизма", "Из истории сионизма в царской России", "Сионизм в системе антикоммунизма", Ю. Иванов "Осторожно: сионизм!", А. Кислов "Белый дом и сионистское лобби", Г. Коновалов "Бильдербергские встречи", С. Крылов "Тайное оружие сионизма", А. Кузьмин "Сионизм: теория и практика", А. Малашко "Реакционная сущность сионизма", Е. Модржинская, В. Ланский "Яд сионизма", Д. Рид "Спор о Сионе", "Протоколы сионских мудрецов", А. Романенко "Сионизм и мафия" и его же "О классовой сущности сионизма", С. Седов "Сионизм: ставка на террор", сборник статей под руководством В. Весновского "Сионизм: правда и вымысел", Г. Соловьев "Лига фашиствующих сионистов", Е. Соловьев "Реакционная сущность сионизма", И. Шафаревич "Русофобия", А. Федянин "Новая книга о сионизме", И. Ярославцев "В чем обвиняется сионизм" и др.

В. И. Ленин, многими еще не так давно щедро цитируемый, в последние годы жизни обратил особое внимание на стратегические цели и задачи международного сионизма. Для того, чтобы мы могли совместно поразмышлять над "злостолетней" проблемой, открою Каталог, изданный Всесоюзной книжной палатой и Музеем-квартирой Ленина. Под номером 1806 на полке в кабинете вождя стоит книга "Всемирный тайный заговор", под номером 1812 — "Протоколы сионских мудрецов", под номером 1846 — "Тайный вождь иудаизма Ашер Гинзберг", под номером 7714 — "Сионизм и мировая политика" и т. д. Работ много, и все они с пометками, основной смысл которых — призыв видеть проблему "вкупе", так как любая сосредоточенность на "частном" приведет к опасным "заунывательству" и "манипуляциям".

Однако сейчас кое-кому В. И. Ленин стал не по нутру, "черный" навал начался и на него. В таком случае сошлюсь на мнение человека, которого ни при каких обстоятельствах моим союзником не назовешь. Человек этот — Роберт Давид, израильский публицист. Вот что он пишет в "Советской России" от 16 мая с. г. в статье "Пока не вбит клин", характеризуя ситуацию на Юге нашей страны: "... в случае победы лагеря Старовойтовой, Пункина, Малынина и прочих клин между Россией и мусульманским Югом будет вбит. А это — давняя мечта всех врагов России, и в частности сионистов. Последним это нужно из своих соображений..."

Если продолжить эту тему применительно к нашим местным мотивам, то следует напомнить, что у истоков расказачивания, организации голода на Кубани стояли все те же сионократические силы, действующие от имени партии большевиков. Как известно, начало уничтожению казачества положила пресловутая директива, подписанная в январе 1919 года Свердловым и воплощенная в жизнь троцкистами.

Дорого обошелся нам и приезд на Кубань Кагановича — организатора голода. Занесенные на "черные доски", вымирали целыми станицами и стар, и млад... И осуществлять этот кровавый террор он мог без всякой опаски, так как всюду были верные по духу помощники — те же Ягода, Ежов, начальник главного управления лагерей и поселений ОГПУ Берман, его заместитель Раппопорт, начальник Беломорских лагерей Коган, начальник лагерей Северной области Финкельштейн, начальник главного управления тюрем Апетер, другие соратники. А всего среди начальников тюрем и лагерей в то время 95 процентов составляли представители сионократии.

Жители станицы Пашковской вспоминают о том времени — "людей полегло, как на фронте... Каганович приехал, как Мамай прошел, а сейчас ни гу-гу, словно не люди — собаки какие посдохли. Когда вы всю правду говорить начнете!"

Представляю, какой бы крик и гвалт поднялся, будь на месте Кагановича Семен Буденный или Клим Ворошилов!

А ведь именно этим незаурядным компрачикосом сионократии во время приезда на Кубань осенью 1932 года была создана обстановка "борьбы с саботажем". Именно он на заседании бюро Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) "со всей большевистской прямотой вскрыл недостатки, показал ошибки большевиков Северного Кавказа, разоблачил перед коммунистами приемы классовых врагов, показал их маневр, разоблачил слюнтяев, коммунистических "шляп", указал на предателей и изменников партии".

Глубже вы этот процесс прочувствуете, подсчитаете убытки, если изучите историю станиц Красноармейской (бывшей Полтавской), Ленинградской (ранее Уманской), Советской (бывшей Урупской) и других.

В ноябре 1975 года Генеральная ассамблея ООН в резолюции 3379 осудила сионизм, как форму расизма и расовой дискриминации. Его связывают также с претензиями на мировое господство. Носителями и вдохновителями этой идеи являются сионократы, в число которых входят не только сионисты, просионисты и подкупленные христопродавцы Отечества, но и обманутые люди, не разобравшиеся в сути событий и явлений и искренне поверившие их демагогическим лозунгам.

Говорю все это, чтобы достучаться до разума и сердца каждого россиянина, чтобы еще раз не повторилась в стране братоубийственная трагедия, которую в третий раз в одном столетии русский народ просто не вынесет. А если она произойдет, то всю ответственность за нее перед народом и историей должно нести нынешнее руководство страны и России.

Не уйти от суда грядущих поколений и нам, если не будем бороться против этого мерзкого человеконенавистнического политического течения, займем пассивную позицию, предадим свой народ. Стать на пути этой большой беды — наш священный патриотический долг.

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

"Уважаемая редакция! Спасибо за мужественные, смелые, архиважные разоблачительные статьи во имя спасения России, многострадального народа от самой страшной для всего мира сионистской чумы.

Казачество должно стать грозным авангардом, оплотом, защитой Отечества и народа..."

М. И. Тонкина и А. Г. Гапоненко, г. Якутск

"Сердечная Вам благодарность за объективные и откровенные статьи, выражающие патриотические чувства большинства народа, и не только Кубани, но и всей России. Напрасны потуги тех двухфамильных фарисеев, которые пытаются обвинить Ваш журнал в великорусском шовинизме. Напротив, не вы, а именно они зовут к национальной исключительности и превосходству над всеми народами, выдавая сионизм всего-навсего за национально-освободительное и религиозное движение еврейского народа. Именно они, боясь разоблачения, "душат" патриотические издания, срывают подписку на них. В частности, у нас в Грозном было невозможно подписаться на "Кубань", подписался полуофициально, по блату, через землячку в Краснодаре..."

А. Т. Лисица, г. Грозный

"... ошибочно было бы полагать, что сионисты проникли и захватили все сферы общества. Это далеко не так. Уверен, что никто не найдет сионистов среди простых тружеников, чего нельзя сказать об ученых кругах. Здесь для сионократии очень удобное место. Может, поэтому оттуда чаще всего и несутся голоса, что опасности сионизма нет. Но какая тогда необходимость защищать то, чего нет?!

Это заставляет вспомнить про осиное гнездо и русскую пословицу: "на воре шапка горит".

С уважением ко всем честным евреям, не сионистам..."

И. Д. Иваненко, г. Краснодар

Иван Варавва

Сабля атамана Чепиги

Баллада

Кошевой атаман Харко Чепига был облечен любовью и уважением казаков за храбрость. По казацкому "звычаю" он был холост. Имел дорогую саблю, подаренную ему Императрицей Екатериной II.

Захворал Захар Чепига —
В поясинце ломота.
На коня не сядешь лихо,
И горилка вже не та.

И не те под небом своды,
Где стоит казачья рать.
Стал он прожитые годы
И походы вспоминать.

Ехал батька в Польшу биться:
Конный путь — не близкий свет.
Позвала Императрица
В Петербурге на обед.

Предложила винограду.
Атаману подала
Шашку царскую в награду
От Двухглавого Орла.

В звоне сабли золоченой,
В славе воинских трудов
Думал взять полячку в жены —
Добрых не было сватов!

В громе ружей на Кавказе
Так же был он холостым:
Приглядела дочка князя —
Князю нужен был калым.

В штабе армии, в Тифлисе,
Фельдцейхмейстер-генерал
Дочь любимую Луизу
В атаманши предлагал...

Не ко времени Чепига
Занедужил, занемог.
Саблю дарственную тихо
Положил он на порог.

Говорят, Орел Двухглавый
К атаману прилетал,
Шашку, с царскою оправой,
В когти острые забрал.

На восток или на запад
Повернулась голова?..
Он унес ее куда-то
За большие дерева.

Казаки в Кругу казачьем
Той доверились молве:
На кургане Семибратском
Саблю видели в траве!

На плечах того кургана
Шашка, полная огня,
Ждет Чепигу-атамана,
Слышит храп его коня.

...Воскрылив святую душу,
Батькин выполнив наказ,
Вдаль ударили из пушек
Черноморцы девять раз.

Буйночубые станицы
К роковому рубежу —
Отнесли его в гробницу,
Словно князя иль пашу.

Годы — звездные обломки
Сквозь туман являют свет.
"Благодарные" потомки
Размели к могилам след!

Казацкая дума

Казацкая кровь по холмам не остыла,
Где храбрых героев Кубань хоронила.
Направо — могила, налево — могила:
Судьба казаков булавой разделила.

Восходит светило
Из-за могилы:
"Мы все нашей Родине верно служили!"
Волошки оделись в нарядные платья —
Железные звезды, кресты да распятья.

Зеленые, красные, белые были...
Людей миллионы забрали могилы.
Из огненно-красных и белых соцветий
Сплетают венки неразумные дети.

Червонные, белые, желтые стяги —
Усыпаны трупом яры и овраги.
А из-за погоста невиданный знак
Полкам и вождям подает вурдалак.

И те, что в Сибири тайгу распилили,
Остались в снегах без креста и могилы.
А те, что попали в подвалы чека, —
Утратили имя свое на века!

"...Россия — могильщик", "Россия — тюрьма!"
— А кто виноватый?
— Россия сама.
Червонные, белые, желто-блакитны*
Могилы, могилы... И голода пытки.

Сердца охладели, и думки остыли:
"Мы все нашу Землю и Волю любили!"
За землю и волю до края дошли:
Не надо ни Воли теперь, ни Земли.

Откуда найдутся у Родины силы,
Когда над могилами встали могилы?
Крапива да камень, да желтый песок...
На склонах могил не растет колосок.

---

* Желто-голубые (укр.)

Иван Солоневич

РОССИЯ В КОНЦЛАГЕРЕ*

КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Пути административного энтузиазма усеяны, увы, не одними революционными розами. Во-первых, обыватель, преимущественно крестьянин, всегда и при первом же удобном случае готов проломить активисту череп. И во-вторых, над каждым активистом сидит активист чином повыше, и от этого последнего проистекает ряд весьма крупных неприятностей.

Позвольте для ясности привести и расшифровать один конкретный пример.

В "Последних Новостях" от 5 февраля 1934 г. была помещена такая заметка о советской России, кажется, из "Правды". Граммофонная фабрика выпускала пластинки с песенкой "В Туле жил да был король". Администрация фабрики пришла к выводу, что король в пролетарской стране фигура неподходящая. Король был заменен "стариком". За этакий "перегиб" нарком просвещения Бубнов оную администрацию выгнал с завода вон.

Эмигрантский читатель может доставить себе удовольствие и весело посмеяться над незадачливой администрацией: заставьте дурака богу молиться, он и т. д. Могу уверить этого читателя, что, будучи в шкуре означенной администрации, он бы смеяться не стал: за "старика" выгнал Бубнов, а за "короля" пришлось бы, пожалуй, разговаривать с Ягодой. Ведь сажали же певцов за "В плену император, в плену..." Ибо требовалось петь: "В плену полководец, в плену..."

Во всяком случае, лучше рискнуть изгнанием с двадцати служб, чем одним приглашением в ГПУ. Не такой уж дурак этот администратор, как издали может казаться.

Так вот, в этой краткой, но поучительной истории фигурируют директор завода, который, вероятно, не совсем уж обормот, граммофонная пластинка, которая для "генеральной линии" не так уж актуальна, и Бубнов, который не совсем уж держиморда. И кроме того, действие сие происходит в Москве.

А если не Москва, а Краснококшайск, и если не граммофонная пластинка, а, скажем, "антипартийный уклон", и если не Бубнов, а просто держиморда. Так тогда как?

Недостараешься — влетит и перестараешься — влетит. Тут нужно потрафить в самый раз. А как именно выглядит этот "самый раз", неизвестно приблизительно никому.

Неизвестно потому, что и сам актив безграмотен и бестолков, и потому, что получаемые им "директивы" так же безграмотны и бестолковы. Те декреты и прочее, которые исходят из Москвы по официальной линии, практически никакого значения не имеют, как не имеют, скажем, решительно никакого значения проектируемые тайные выборы. Ибо кто осмелится выставить свою кандидатуру, которая будет ведь не тайной, а открытой. Имеют здесь значение только те и отнюдь не публикуемые директивы, которые идут по партийной линии. Скажем, по поводу означенного тайного голосования актив, несомненно, получит директиву о том, как тайно ликвидировать явных и неугодных кандидатов или явные и

* Продолжение. Начало в № 1—4.

антипартийные предложения. В партийности и антипартийности этих предложений судьей окажется тот же актив. И тут ему придется сильно ломать голову: почему ни с того ни с сего "король" оказался партийно приемлемым и почему за "старика" вздули?

Партийная директива исходит от московского держиморды и, "спускаясь в низовку", подвергается обработке со стороны держиморд областных, районных и прочих, "прорабатывающих оную директиву" применительно к местным условиям. Так что одна и та же директива, родившись в Москве из одного источника, по дороге на село или на завод разрастется целой этакой многоголовой гидрой. По советской линии (через исполком), по заводской линии (через трест), по партийной линии (через партийный комитет), по партийно-соглядатайской (через ГПУ) и т. д. и т. д. Все эти гидры одновременно и с разных сторон вцепятся нашему активисту во все подходящие и неподходящие места, каковой факт способствовать прояснению чьих бы то ни было мозгов никак не может.

Конечно, промежуточные держиморды об этих директивах друг с другом не сговариваются. Когда очередная директива кончается очередным крахом, возникает ожесточенный междуведомственный мордобой. Держиморды большие сваливают все грехи на держиморд мелких, и едет наш актив и за Урал, и на низовую работу, и просто в концлагерь.

В самом чистом виде эта история произошла со знаменитым головокружением — история, которую я случайно знаю весьма близко. По прямой директиве Сталина Юг России был разорен вдребезги: требовалось сломить кулачество в тех районах, где оно составляло подавляющее большинство населения. Андреев, нынешний секретарь ЦК партии, получил на эту тему специальную и личную директиву Сталина. Директива, примененная к местным условиям, была передана секретарям районных комитетов партии в письменном виде, но с приказанием по прочтении и усвоении сжечь. Этот последний вариант я самолично видал у одного из уже бывших секретарей, который догадался ее не сжечь.

На донского и кубанского мужика актив ринулся со всем своим погромным энтузиазмом. О том, что делалось на Дону и на Кубани, лучше и не говорить. Но когда начались волнения и восстания в армии, когда волей-неволей пришлось дать отбой, Сталин выкинул свое знаменитое "Головокружение от успехов": от актива ему нужно было отгородиться во имя собственной шкуры.

Маккиавели не подгадил. Мужики из актива вытягивали кишки по вершку. ГПУ расстреливало и рассылало особенно одиозные фигуры, и сам я слыхал в вагоне старушонку, которая говорила:

— Вот Сталину уж, действительно, дай бог здоровья. Прямо из петли вытащил.

Только здесь, за границей, я понял, что старушонка эта, несмотря на весь свой преклонный возраст, принадлежала к партии младороссов.

...Тот дядя, который догадался оную директиву не сжечь, был очень стреляным советским держимордой. Он не только не сжег ее, он ее передал в третьи руки. И взятый за жабры по обвинению в головокружении, сказал, что ежели с ним что-нибудь особенное сделают, так эта директивка за подписью самого Андреева пойдет гулять по партийным и по военным верхам. Дядя сторговался с ГПУ на том, что его выслали в Среднюю Азию. Директивка у него осталась и была запрятана в особо секретном месте. Но столь догадливые активисты попадаются очень редко.

Так вот и живет этот актив между обухом рабоче-крестьянской ярости и плетью "рабоче-крестьянской" власти.

Власть с активом не церемонится. Впрочем, с кем, в сущности, церемонится сталинская власть? Разве только с Лениным, да и то потому, что все равно уже помер. С активом она не церемонится, в особенности, исходя из того весьма реалистического соображения.

что этому активу все равно деваться некуда; лишь только он уйдет из-под крылышка власти, лишь только он будет лишен традиционного нагаиа, его зарежут в самом непродолжительном времени.

ЧЕРТОВЫ ЧЕРЕПКИ

Оторванный от всякой социальной базы, предавший свою мать ГПУ и свою душу черту, актив делает карьеру. Но черт, как это известно было уже Гоголю, имеет чисто большевистскую привычку платить черепками. Этими черепками оплачивается и актив.

Люди, которые представляют себе этот актив в качестве "сливок нации" и победителей в жизненной борьбе, совершают грубую ошибку. Никакие они не сливки и никакие они не победители. Это измотанные, истрепанные, обалделые люди, и не только палачи, но и жертвы. Та сравнительно небольшая прослойка актива, которая пошла на все эти доносы и раскулачивания во имя какой-то веры, пусть очень туманной, но все же веры, веры хотя бы только в вождей, состоит, кроме всего прочего, из людей глубоко и безнадежно несчастных, слишком широкие потоки крови отрезают дорогу назад, а впереди... Впереди ничего, кроме чертовых черепков, не видно.

Советская власть платить вообще не любит. Индивидуально ценный и во многих случаях практически трудно заменимый спец как-то пропитывается и не голодает не воруя. Актив может не голодать только за счет воровства.

Он и подворовывает, конечно, а нищенских советских масштабах, так, на фунт мяса и на бутылку водки, по такой примерно схеме:

Ванька сидит председателем колхоза, Степка в милиции, Петька, скажем, в Госспирте. Ванька "раскулачит" мужицкую свинью и передаст ее милиции. Выходит, как будто, и легально: не себе же ее взял. Милицейский Степка эту свинью зарежет, часть отдаст на какие-нибудь заготовки, чтобы потом, в случае какого-нибудь подсиживания, легче было отписаться, часть в воздаяние услуги даст тому же Ваньке, часть в чаянии дальнейших услуг препроводит Петьке. Петька снабдит всю компанию водкой. Водка же будет "извлечена" из акта, в котором будет сказано, что на подводе Марксо-Ленинско-Сталинского колхоза означенная вода была перевозима со склада в магазин, причем в силу низкого качества оси, изготовленной Россельмашем, подвода опрокинулась, и водка — поминай, как звали. Акт будет подписан председателем колхоза, старшим милицейским и заведующим Марксо-Ленинско-Сталинским отделением Госспирта. Пойди потом разберись.

Да и разбираться-то никто не будет. Местное население будет молчать, воды в рот набравши. Ибо ежели кто-нибудь донесет на Петьку в ГПУ, то в этом ГПУ у Петьки может быть товарищ или, как в этом случае говорят, "корешок". Петьку-то, может, и вышлют в концлагерь, но зато и оставшиеся "корешки", и те, кто прибудет на Петькино место, постараются с возможным автором разоблачения расправиться так, чтобы уж окончательно никому неповадно было портить очередную активистскую выпивку.

Этакое воровство в той части, какая идет на активистский пропой души, большого народнохозяйственного значения не имеет даже и в масштабах советской нищеты. Бывает значительно хуже, когда для сокрытия воровства и для получения возможности сорвать уничтожаются ценности, далеко превосходящие потребительские аппетиты актива. В моей кооперативной деятельности была и такая: мне раз пришлось обследовать склад в 8000 пудов копченого мяса, которое сгноили в целях сокрытия концов в воду. Концы, действительно, были скрыты: к складу за полверсты подойти было нельзя. И на все были акты, подписанные соответствующими Ваньками, Петьками и Степками.

Ревизионная комиссия вынесла соломоново решение: согнать мужиков и, выкопав ямы, зарыть в эти ямы оное гнилье.

Для полноты картины следует добавить, что сгнившие колбасы были изготовлены из "раскулаченных" у тех же мужиков свиней. В течение месяца после этого благовонного происшествия половина местного актива была вырезана мужиками "на корню". Остальные разбежались.

АКТИВ И ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Так что, куда ни кинь, все выходят чертовы черепки. Особенно обидный вариант этих черепков получается в отношении актива и интеллигенции.

Нынешний российский политический строй — это абсолютизм, который хочет быть просвещенным. Хозяйственный строй — это крепостничество, которое хочет быть культурным. Поэтому советский барин любит щеголять культурой и белыми перчатками. Обращаясь к аналогии крепостных времен, следует вспомнить, что тот самый Мирабо, который

старого Гаврило
за измятое жабо
хлещет в ус да в рыло,

относился весьма сочувственно к Вольтеру и украшал жизнь свою крепостным балетом. Он, конечно, был покровителем наук и искусств. Он, скажем, после хорошей псовой охоты по мужичьим полям или после соответствующих операций на конюшне был очень не прочь отдохнуть душой и телом за созерцанием каких-нибудь этаких черных тюльпанов. По этой самой причине он милостиво пригласит в свой барский кабинет ученого, хотя и тоже крепостного, садовода и будет вести с ним проникновенные разговоры о цветоводстве или о том, как бы этак распланировать барский парк, чтобы соседнее буржуазное поместье сдохло от зависти.

Как видите, тема эта довольно тонкая. Бурмистр же столь тонких разговоров вести не может. Он выполняет функцию грубую — бьет плебс по морде. Садовода пороть невыгодно, на обучение его какие-то деньги ухлопали. А на место бурмистра можно поставить любого обормота с достаточно административными дланями и челюстями.

Вот приблизительная схема взаимоотношений треугольника "партия — актив — интеллигенция", как эта схема складывается в последние годы. Ибо именно в последние годы стало ясно, что с интеллигенцией власть одновременно перепланировала и недопланировала.

Истребление "буржуазной интеллигенции" было поставлено в таких масштабах, что когда "план" при содействии доблестных активистских челюстей был выполнен, то оказалось, что почти никого не осталось. А новая советская, пролетарская и т. д. интеллигенция оказалась еще более контрреволюционной, чем была старая интеллигенция, и менее грамотной технически и орфографически, чем была старая даже полуинтеллигенция. Образовалась дыра, или, по советской терминологии, — прорыв, острая "нехватка кадров" врачебных, технических, педагогических и прочих. Интеллигент оказался "в цене". А недорезанный старый — в еще большей. Это не поворот в политике и не эволюция власти, а просто закон спроса и предложения, или, по Марксу, "голый чистоган". При изменившемся соотношении спроса активистским челюстям снова найдется работа.

Теперь представьте себе психологию актива. Он считает, что он — соль земли и надежда мировой революции. Он проливал кровь. Ему не единожды и не дважды проламывали череп и выпускали кишки. Он, безусловно, верный пес советского абдул-гамидизма. Ни в каких уклонах, сознательных по крайней мере, он неповинен и повинен быть не может. Для уклона нужны все-таки хоть какие-нибудь мозги, хоть

какая-нибудь совесть. Ни тем, ни другим актив не переобременен. Можете вы себе представить уездного держиморду, замешанного в "бессмысленных мечтаниях" и болеющего болями и скорбями страны?

По всему этому актив считает, что кто-кто, а уж он-то во всяком случае имеет право на начальственные благодеяния и на тот жизненный пирог, который, увы, проплывает мимо его стальных челюстей и разинутой пасти и попадает в руки интеллигенции, руки заведомо иронические и неблагонадежные.

И пирог попадает все-таки к интеллигенции. Цепных псов никогда особенно не кормят, говорят, что они от этого бывают злее. Не кормят особенно и актив, прежде всего потому, что кормить досыта вообще нечем, а то, что есть, перепадает преимущественно людям "в цене", то есть партийной верхушке и интеллигенции.

Все это очень обидно и очень как-то двусмысленно. Скажем, актив обязан соглядатайствовать и в первую голову соглядатайствовать за интеллигенцией, в особенности за советской и пролетарской, ибо ее больше, и она более активна. Как бы осторожно человека ни учили, он от этого приобретает скверную привычку думать. А ничего в мире советская власть так не боится, как оружия в руке и мыслей в голове у трудящихся масс. Оружие можно отобрать. Но каким, хотя бы самым пронзительным обыском можно обнаружить, например, склад опасных мыслей?

Слежка за мыслями — вещь тонкая и активу, ясно, не под силу. Но следить он обязан. Откопают, помимо какого-нибудь приставленного к этому делу Петьки, какой-нибудь троцкистско-бухаринский право-левацкий уклоно-загиб и сейчас же Петьку за жабры: а ты что не вцепился? И поедет Петька или на Аму-Дарью, или в ББК.

А с другой стороны, как его сигнализируешь? Интеллигент — он "все превзошел, депеши выдумывать может", а уж Петьку ему этаким уклоно-загибом обойти — дело совсем плевое. Возьмет в руки книжку и ткнет туда Петьку носом.

— Видишь? Кем написано? Бухариным, Каменевым, Рыковым написано. Смотри, партиздат есть? Есть. "Под редакцией коммунистической академии" написано? Написано. Ну, так и пошел ты ко всем чертям. — Активисту ничего не остается, как пойти ко всем чертям.

Но и в этом местопребывании активисту будет неуютно. Ибо откуда его бедная чугунная голова может знать, была ли инкриминируемая бухаринско-прочая фраза или цитата написана до разоблачения или после покаяния. Или она успела проскочить перед обалделым взором коммунистической академии в промежуток между разоблачением и покаянием? И не придется ли означенному Бухарину за означенную фразу снова разоблачаться, пороться и каяться, и не влетит ли при этом оному активисту задним числом и по тому же месту?

Не досмотришь, и —

"притупление классовой бдительности...";

"хождение на поводу у классового врага...";

"гнилой оппортунизм...";

"смычка с враждебными партии элементами..."

Перестараешься, и опять палка — "головокружение", "перегиб", "спецеедство", "развал работы" и даже "травля интеллигенции". И как тут отличить линию от загиба, недооценку от переоценки, пролетарскую бдительность от голого администрирования и халтуру от кабака? На всей этой терминологии кружатся и гибнут головы, наполненные и не одним только "энтузиазмом".

Советскую власть, в зависимости от темперамента и от политических убеждений, оценивают, как известно, с самых различных точек зрения. По-видимому, за скобки всех этих точек зрения можно вынести один общий множитель, как будто бесспорный: советская

система, как система власти, во что бы то ни стало показала миру недосягаемый образец "техники власти".

Как бы мы ни оценивали советскую систему, бесспорным кажется еще одно — ни одна власть в истории человечества не ставила себе таких грандиозных целей и ни одна в истории власть по дороге к своим целям не нагромоздила такого количества трупов. И при этом осталась непоколебимой.

Этот треугольник "целей—трупов—непоколебленности" создает целый ряд оптических иллюзий. За голой техникой властвования людям мерещатся и "энтузиазм", и "мистика", и "героизм", и "славянская душа", ... и черт знает что еще.

В 1918 году в германском Киеве мне как-то пришлось этак по душам разговаривать с Мануильским, нынешним генеральным секретарем Коминтерна, а также представителем красной Москвы в весьма неопределенного цвета Киеве. Я доказывал Мануильскому, что большевизм обречен, ибо сочувствие масс не на его стороне.

Я помню, как сейчас, с каким искренним пренебрежением посмотрел на меня Мануильский. Точно хотел сказать: вот поди ж ты, даже мировая война, и та еще не всех дураков выбила.

— Послушайте, дорогой мой, — усмехнулся он весьма презрительно, — да на какого же нам черта сочувствие масс? Нам нужен аппарат власти. И он у нас будет. А сочувствие масс? В конечном счете наплевать нам на сочувствие масс.

Очень много лет спустя, пройдя всю суровую, снимающую всякую иллюзию школу советской власти, я, так сказать, своей шкурой прощупал этот уже реализованный аппарат власти в городах и деревнях, на заводах и в аулах, в ВЦСПС и в лагере, в тюрьмах. Только после всего этого мне стал ясен ответ на мой давнишний вопрос, из кого же можно сколотить аппарат власти при условии отсутствия сочувствия масс?

Ответ заключается в том, что аппарат можно сколотить из сволочи, и сколоченный из сволочи, он оказался непреоборимым, ибо для сволочи нет сомнения, ни мысли, ни сожаления, ни сострадания: твердой души прохвосты.

Конечно, эти твердой души прохвосты-активисты отнюдь не специфически русское явление. В Африке они занимаются стрельбой по живым чернокожим целям, в Америке линчуют негров, покупают акции компании Ноева ковчега. Это мировой тип. Это тип человека с мозгами барана, челюстями волка и моральным чувством протоплазмы. Это тип человека, ищущего решения плюгавых своих проблем в распоротом животе ближнего своего. Но так как никаких решений в этих животах не обнаруживается, то проблемы остаются нерешенными, а животы вспарываются дальше. Это тип человека, участвующего шестнадцатым в очереди в коллективном изнасиловании.

Реалистичность большевизма выразилась, в частности, в том, что ставка на сволочь была поставлена прямо и беззастенчиво.

Я никак не хочу утверждать, что Мануильский был сволочью, как не сволочью был и Торквемада. Но когда христианство тянуло людей в небесный рай кострами и пытками, а большевизм — в земной — "чекой" и пулеметами, то в практической деятельности, ничего не поделаешь, приходилось базироваться на сволочи. Технику организации и использования этой последней большевизм от средневековой и капиталистической кустарщины поднял до уровня самолетов и радио. Он этот "актив" собрал со всей земли, отделил от всего остального населения химической пробой на донос и кровь, отгородил стеной из ненависти, вооружил пулеметами и танками. Сочувствие масс. Плевать нам на сочувствие масс.

ЛАГЕРНЫЕ ПРОМЫСЛЫ АКТИВА

Когда я несколько осмотрелся кругом и ознакомился с людским содержанием УРЧ, мне стало как-то очень не по себе. Правда, на воле активу никогда не удавалось

вцепиться мне в икры всерьез. Но как будет здесь, в лагере? Здесь, в лагере, самый неудачный, самый озлобленный, обиженный богом и Сталиным актив — все те, кто глядел и не доглядел, служил и переслужился, воровал и проворовался. У него вместо почти облюбованного партбилета — годы каторги, вместо автомобиля — березовое полено и вместо власти — нищенский лагерный блат из-за лишней ложки ячменной каши. А пирог? Пирог так мимо и ушел.

За что же боролись, братишечки?

...Я сижу на полене, кругом на полу валяются кипы "личных дел", и я попытаюсь как-нибудь разобраться, или, по наседкинской терминологии, определить, "что — куда". Высокий жилистый человек с костистым изжеванным лицом, в буденовке, но без звезды, в военной шинели, но без петлиц, — значит, заключенный, но из привилегированных, проходит мимо меня и осматривает меня, мое полено и мои дела. Осматривает внимательно и как-то презрительно-озлобленно. Проходит в следующую закуту, и оттуда я слышу его голос:

— Что, эти сукины дети с Погры опять нам какого-то профессора прислали?

— Не, юрес-кон-сул какой-то, — отвечает подобострастный голос.

— Ну, все равно. Мы ему здесь покажем университет. Твердун, вызови мне Фрейденберга.

— Слушаю, товарищ Стародубцев.

Фрейденберг — это один из украинских профессоров, профессор математики. В этом качестве он почему-то попал на должность "статистика" — должность, ничего общего со статистикой не имеющую. Статистик — это низовой погонщик УРЧ, долженствующий в масштабе колонны, то есть двух-трех бараков, учитывать использование рабочей силы и гнать на работу всех, кто еще не помер. Не подходящая для профессора Фрейденберга должность.

— Товарищ Стародубцев, Фрейденберг у телефона.

— Фрейденберг? Говорит Стародубцев... Сколько раз я вам, сукиному сыну, говорил, чтобы вы мне сюда этих очкастых идиотов не присылали... Что? Чей приказ? Плевать мне на приказ! Я вам приказываю. Как начальник строевого отдела... А то я вас со всем очкастым г... на девятнадцатый квартал вышибу. Тут вам не университет. Тут вы у меня не поразговариваете. Что? Молчать, черт вас раздери! Я вот вас самих в шизо посажу. Опять у вас вчера семь человек на работу не вышло. Плевать я хочу на ихние болезни... Вам приказано всех гнать... Что? Вы раньше матом крыть научитесь, а потом будете разговаривать. Что, ВОХРа у вас нет?.. Если у вас завтра хоть один человек не выйдет...

Я слушаю эту тираду, пересыпанную весьма лапидарными, но отнюдь не печатными выражениями, и личные дела в голову мне не лезут. Кто такой Стародубцев, какие у него права и функции? Что означает этот столь многообещающий прием? И в какой степени моя теория советских взаимоотношений на воле может быть приложена здесь? Здесь у меня знакомых ни души. Профессора? С одним вот таким разговаривают. Двое служат в УРЧ уборщиками — совершенно ясно, из чистого издевательства над "очкастыми". Один профессор рефлексологии штемпелюет личные карточки, 10—15 часов однообразного движения рукой.

Профессор рефлексологии... Психология в советской России аннулирована. Раз нет души, то какая же психология? А профессор был такой. Как-то несколько позже, не помню, по какому именно поводу, я сказал что-то о фрейдизме.

— Фрейдизм? — переспросил меня профессор. — Это что? Новый уклон?

Профессор был советского скоростредьного призыва. А уж новую советскую интеллигенцию "актив" ненавидит всеми фибрами своих твердых душ. Старая еще

туда-сюда. Училась при царском строе — кто теперь разберет. А вот новая, которая обошла и обставила активистов на самых глазах, под самым носом... Тут есть от чего скрипеть зубами.

Нет, в качестве поддержки профессора́ никуда не годятся. Пытаюсь рассмотреть свою ситуацию теоретически. К чему теоретически сводится эта ситуация? Надо полагать, что я попал сюда потому, что был нужен более высокому начальству, вероятно, из чекистов. Если это так, на Стародубцева не сейчас, так позже можно будет плюнуть. Стародубцева можно будет обойти так, что ему останется только зубами лязгать. А если не так? Чем я рискую? В конце концов, едва ли бо́льшим, чем просто лесные работы. Во всяком случае, при любом положении попытки актива вцепиться в икры нужно пресекать в самом корне. Так говорит моя советская теория. Ибо если не осадить сразу, заедят. Эта публика значительно хуже у́рок хотя бы потому, что урки гораздо толковее. Они если будут пырять ножом, то во имя каких-то конкретных интересов. Актив может вцепиться в горло просто из одной собачьей злости, без всякой выгоды для себя и без всякого, в сущности, расчета, из одной, так сказать, классовой ненависти. В тот же вечер я прохожу мимо стола Стародубцева.

— Эй вы, как фаша фамилия? Тоже профессор?

Я останавливаюсь.

— Моя фамилия Солоневич. Я не профессор.

— То-то. Тут идиотам плохо приходится.

У меня становится нехорошо на душе. Значит, началось. Значит, нужно осаживать сейчас же. А я здесь, в УРЧ, как в лесу. Но ничего не поделаешь. Стародубцев смотрит на меня в упор наглыми, выпученными, синими с прожилками глазами.

— Ну, не все же идиоты. Вот вы, насколько я понимаю, не так уж плохо устроились.

Кто-то сзади хихикнул и заткнулся. Стародубцев вскочил с перекошенным лицом... Я постарался всем своим лицом и фигурой выразить полную и немедленную, психическую и физическую готовность дать в морду. И для меня это, вероятно, грозило бы несколькими неделями изолятора. Для Стародубцева — несколькими неделями больницы. Но последнего обстоятельства Стародубцев мог и не учитывать. Поэтому я, предупреждая готовый вырваться из уст Стародубцева мат, говорю ему этаким академическим тоном:

— Я, видите ли, не знаю вашего служебного положения. Но должен вас предупредить, что если вы хоть на одну секунду попробуете разговаривать со мною таким тоном, как разговаривали с профессором Фрейденбергом, то получится очень нехорошо.

Стародубцев стоит молча. Только лицо его передергивается. Я поворачиваюсь и иду дальше. Вслед за мной несется:

— Ну, подожди же...

И уже пониженным голосом присовокупляет мат. Но этого мата я "официально" могу и не слышать, я уже в другой комнате.

В тот же вечер, сидя на своем полене, я слышу в соседней комнате такой диалог:

Чей-то голос:

— Товарищ Стародубцев, что такое ихти-олог?

— Ихтиолог? Это рыба такая. Допотопная. Сейчас их нету.

— Как нету? А вот Медгора требует сообщить, сколько у нас на учете ихтиологов.

— Вот тоже, сразу видно — идиоты с университетским образованием... — голос Стародубцева повышается в расчете на то, чтобы я смог слышать его афоризм. — Вот тоже удивительно, как с высшим образованием, так непременно идиот. Ну, и пиши им: никаких допотопных рыб в распоряжении УРЧ не имеется. Утри им нос.

Парень смолк, видимо, приступил к утиранию носа. И вот, к моему ужасу, слышу я голос Юры:

— Это не рыба, товарищ Стародубцев, а ученый... который рыб изучает.

— А вам какое дело. Не разговаривать, когда вас не спрашивают, черт вас возьми. Я вас тут научу разговаривать. Всякий сукин сын будет лезть не в свое дело.

Мне становится опять нехорошо. Вступиться с кулаками на защиту Юры — будет как-то глупо, в особенности, пока дело до кулаков еще не доходит. Смолчать? Дать этому активу прорвать наш фронт, так сказать, на Юрином участке? И на какого черта Юре было лезть с его поправкой! Слышу срывающийся голос Юры:

— Слушаюсь. Но только я доложу об этом начальнику УРЧ. Если бы ваши допотопные рыбы пошли в Медгору, была бы неприятность и ему.

У меня отходит от сердца. Молодцом, Юрчик, выкрутился. Но как долго и с каким успехом придется еще выкручиваться дальше?

Нас поместили на жительство в палатке. Было электрическое освещение, и с потолка вода не лилась. Но температура на нарах была градусов 8—10 ниже нуля. Ночью пробираемся "домой". Юра подавлен.

— Нужно куда-нибудь сматываться, Ватик. Заедят. Сегодня я видал: Стародубцев выронил папиросу, позвал из другой комнаты профессора М. и заставил ее поднять. К чертовой матери. Лучше к уркам или в лес.

Я тоже думал, что лучше к уркам или в лес. Но я еще не знал всего, что нам готовил УРЧ, и месяцы, которые нам предстояло провести в нем. Я также недооценивал волчью хватку Стародубцева. Он чуть было не отправил меня под расстрел. И никто еще не знал, что впереди будут кошмарные недели отправки подпорожских эшелонов на БАМ, что эти недели будут безмерно тяжелее Шпалерки, одиночки и ожидания расстрела.

И все-таки, если бы не попали в УРЧ, то едва ли бы мы вырвались из всего этого живьем.

РАЗГОВОР С НАЧАЛЬСТВОМ

На другой день ко мне подходит один из профессоров уборщиков.

— Вас вызывает начальник УРЧ товарищ Богоявленский.

Нервы, конечно, уже начинают тупеть. Но все-таки на душе опять тревожно и нехорошо. В чем дело? Не вчерашний ли разговор со Стародубцевым?

— Скажите мне, кто, собственно, этот Богоявленский? Из заключенных?

— Нет, старый чекист.

Становится легче. Опять один из парадоксов советской путаницы. Чекист— это хозяин. Актив — это свора. Свора норовит вцепиться в любые икры, даже и те, которые хозяин предпочел бы видеть не изгрызанными. Хозяин может быть любой сволочью, но накинувшуюся на вас свору он в большинстве случаев отгонит плетью. С мужиком и рабочим актив расправляется более или менее беспрепятственно. Интеллигенцию сажает само ГПУ. В столицах, где актив торчит совсем на задворках, это мало заметно, но в провинции ГПУ защищает интеллигенцию от актива или, во всяком случае, от самостоятельных поползновений актива.

Такая же закута, как и остальные "отделы" УРЧ. Задрипанный письменный стол. За столом — человек в чекистской форме. На столе перед ним лежит мое личное дело.

Богоявленский окидывает меня суровым чекистским взором и начинает начальственное внушение, совершенно беспредметное и бессмысленное. Здесь, дескать, лагерь, а не курорт, тут, дескать, не миндальничают, а с контрреволюционерами в особенности, за малейшее упущение или нарушение трудовой лагерной дисциплины — немедленно под арест, в шизо, на девятнадцатый квартал, на Лесную Речку. Нужно взять большевистские темпы работы. Нужна ударная работа. Ну, и так далее.

Это свирепое внушение действует, как бальзам, на мои раны — эффект, какового Богоявленский никак не ожидал. Из этого внушения я умозаключаю следующее: что Богоявленский о моих статьях знает, что оные статьи в его глазах никаким препятствием не служат, что о разговоре со Стародубцевым он или ничего не знает, или, зная, никакого значения ему не придает, и что, наконец, о моих будущих функциях он имел то самое представление, которое столь блестяще было сформулировано Наседкиным: "что — куда".

— Гражданин начальник, позвольте вам доложить, что ваше предупреждение совершенно бесцельно.

— То есть как так бесцельно? — свирепеет Богоявленский.

— Очень просто. Раз я попал в лагерь, в моих собственных интересах работать, как вы говорите, ударно и стать ценным работником, в частности, для вас. Дело тут не во мне.

— А в ком же, по-вашему, дело?

— Гражданин начальник, ведь через неделю-две в одной только Погре будет 25—30 тысяч заключенных. А по всему отделению их будет тысяч 40—50. Ведь вы понимаете, как при таком аппарате... Ведь и мне в конечном счете придется отвечать, всему УРЧ и мне тоже.

— Да уж насчет отвечать, это будьте спокойны. Не поцеремонимся.

— Ну, конечно. На воле тоже не церемонятся. Но вопрос в том, как при данном аппарате сорганизовать рассортировку этих сорока тысяч? Запутаемся ведь к чертовой матери.

— Н-да. Аппарат у вас не очень. А на воле вы где работали?

Я изобретаю соответствующий моменту стаж.

— Так что ж вы стоите? Садитесь.

— Если вы разрешите, гражданин начальник... Мне кажется, что вопрос идет о квалификации существующего аппарата. Особенно в низовке, в бараках и колоннах. Нужно бы небольшие курсы организовать. На основе ударничества.

И я запинаюсь. Усталость. Мозги не работают. Вот дернула нелегкая ляпнуть об ударничестве. Не хватало еще ляпнуть что-нибудь о соцсоревновании. Совсем подмочил бы свою нарождающуюся деловую репутацию.

— Да, курсы — это бы неплохо. Да кто будет читать?

— Я могу взяться. Медгора должна помочь.Отделение как-никак ударное.

— Да, это надо обдумать. Берите папиросу.

— Спасибо, я старовер.

Моя образцово-показательная коробка опять появляется на свет божий. Богоявленский смотрит на нее не без удивления. Я протягиваю:

— Пожалуйста.

Богоявленский берет папиросу.

— Откуда это в лагере люди такие папиросы достают?

— Из Москвы приятели прислали. Сами не курят, а записаны в распределитель номер первый.

Распределитель номер первый — это правительственный распределитель, так — для наркомов и иже с ними. Богоявленский это, конечно, знает.

Минут через двадцать мы расстаемся с Богоявленским несколько не в том тоне, в каком встретились.

ТЕХНИКА ГИБЕЛИ МАСС

Мои обязанности "юрисконсульта" и "экономиста-плановика" имели то замечательное свойство, что никто решительно не знал, в чем именно они заключаются. В том числе и я. Я знакомился с новой для меня отраслью советского бытия и по мере своих сил пытался завести в УРЧ какой-нибудь порядок. Богоявленский, надо отдать ему справедливость, оказывал мне в этих попытках весьма существенную поддержку. "Актив" изводил нас с Юрой десятками мелких, бессмысленных подвохов, но ничего путного сделать не мог, а как оказалось впоследствии, концентрировал силы для генеральной атаки. Что этому активу было нужно, я так и не узнал до конца. Возможно, что одно время он боялся, как бы я не стал на скользкие пути разоблачения его многообразного воровства, вымогательства и грабежа. Но для такой попытки я все-таки был слишком стреляным воробьем. Благоприобретенные за счет мужицких жизней бутылки советской сивухи распивались, хотя и келейно, но вкупе с головкой административного отдела, третьей части и прочих лагерных заведений. Словом, та же схема: Ванька в колхозе, Степка в милиции, Петька в Госспирте... Попробуйте пробить эту цепь круговой пролетарской приятельской поруки. Это и на воле жизнеопасно, а в лагере уж проще сразу повеситься. Я не собирался ни вешаться, ни лезть с буржуазным уставом в пролетарский монастырь. Но актив продолжал нас травить — бессмысленно и в сущности бесцельно. Потом в эту сначала бессмысленную травлю вклинились мотивы деловые и весьма весомые. Разыгралась одна из бесчисленных в России сцен классовой борьбы между интеллигенцией и активом — борьбы за человеческие жизни.

Продолжение следует.

Валерий Хатюшин

"Распятье на звезде..."

* * *

В своем величье гордом и убогом
Угас народ под бременем оков.
Так было суждено России Богом —
Распятье на звезде большевиков.

Вы, шедшие штыками брат на брата,
буденовки надвинув до бровей,
вы не мечтали, что придет расплата
за подлость вами выбранных идей?..

* * *

Что ни идея — то разруха,
и что ни мысль — то стыд и срам.
И смерть — злорадная старуха
с эстрады подвывает нам.
Разъединить нас всех сумели,
куда б ни шли — идем мы врозь,
уже и дышим еле-еле,
но для петли — вбиваем гвоздь...

* * *

На лбу с отметиной кровавой,
захваченный всемирной славой,
он строит "европейский дом".
И превратив страну в Содом, —
ее залил речей отравой.

Три кресла приминает задом,
народным управляя стадом
в угоду мировым дельцам
и нашим "левым" подлецам,
пропахшим сатанинским смрадом.

... Идет торгаш походкой бравой,
доволен рыночной расправой.
Над обворованной страной...
Смеется за его спиной
Последний Михаил Кровавый.

* * *

...Во имя древней той земли,
потопленной, той самой ради
здесь наши предки полегли,
не уступив врагу ни пяди.

Врагов же было тьмы и тьмы...
Не зная мира и покоя,
здесь жили пращуры. А мы —
теперь уходим, сдав без боя.

Уходим под эстрадный вой
в могилы, что себе отрыли...
На мирной третьей мировой
нас, усыпленных, покорили...

Владимир Карпец

* * *

На размокшую землю,
  прощаясь, положишь ладони...
Под хранительным льдом,
  только снились все эти года —
До войны всеземной
  от расстрела в Ипатьевском доме
Только шаг, только миг
  да крещенская с кровью вода.

А вокруг в свальном грехе
  сталинисты, евреи, чинуши,
Либералы и люберы —
  катится в пламя клубок...
И не слышит никто,
  как из лейки невидимо тушит
белый мальчик в матроске
  пылающий русский острог.

Молитва

Расплывался вечерний малиновый звон,
Переполненный страстью бесстрастною, —
Там старуха молилась,
забыв про канон, —
"Серафимушко, солнышко ясное..."

Убиваясь, молилась в своем шушуне
Преподобному Сергию, Тихону
О пропащей земле, о великой стране —
Покровителю, Ангелу тихому.

О безгрешном сем дне,
  о заблудших властях
И за христолюбивое воинство,
Обо всем, обо всех и навеки о тех,
В ком треклятые бесы заводятся.

О покое святом убиенных родов,
Да спастись нам от скверны
  и гадости,
Да избавиться нам от змеиных плодов —
Паки, паки — Нечаянной Радости.

И как будто в лесу,
  освеженном грозой,
Осияло ее, безутешную,
Проступали в подглазьях
  слеза за слезой —
Богородица слышала грешную.

И вливалась молитва в святую капель,
Той, великой весны побеждения,
И на мертвую Русь опускалась купель
Для грядущего новорождения.

Петр Краснов

ОТ ДВУГЛАВОГО ОРЛА К КРАСНОМУ ЗНАМЕНИ*

ИЗ РОМАНА

В полку наступило скучное время. Строевых занятий не было. Все начальство было в отпуску. Всюду были "временно исполняющие должность", предпочитавшие, чтобы не напутать чего, ничего не делать, и всех уверяющие, что они только халифы на час. В канцелярии сидел ротмистр, вр. и. д. командира полка, корнет, вр. и. д. полкового адъютанта, эскадронами правили корнеты, появляющиеся ежедневно на полчаса в эскадронной канцелярии, чтобы выслушать рапорт вахмистра, что все обстоит благополучно, и подписать какие-то ведомости и требования.

Суетились только квартирмейстер и ветеринарный врач. Первый спешно оканчивал ремонт казарм без расходов от казны, на полковые средства, второй лечил лошадей и исправлял убытки, нанесенные маневрами. С утра лазарет наполнялся лошадьми с набитыми спинами, хромыми, волочащими ноги. Засечки, растяжения, ушибы, мокрецы, — все это промывалось, бинтовалось, подмазывалось, делались втирания, массажи. Так готовили четвероногих больных к новой работе.

Окна в казармах были забрызганы краской, всюду пахло олифой, свежеоструганным деревом, известкой, кирпичом и замазкой. Солдаты в рубахах и шароварах какого-то пятого срока, не показанных ни в какой табели и состоящих из заплат и дыр, лазали по крышам, и, стоя на лесах, красили, строгали, месили известку, производя свой полковой ремонт. Увольняемые в запас то малыми командами, то поодиночке уходили в город, справлять гостинец для деревни.

Большой полковой двор был пуст и порос травою. Барьеры, чучела и станки для рубки лежали в углу, поломанные и грязные. На них сушились какие-то тряпки, да подле бродили вахмистерские куры и утки.

Саблину, никуда не поехавшему, противно было заглядывать на дворы и конюшни. На квартире одному было скучно. Он иногда целый день проводил, лежа в кабинете с книгой в руках. Обед ему приносили из собрания на квартиру. Скучно было ходить по залам с занавешенными по-летнему зеркалами и портретами, где гулко отдавались шаги, и садиться за большой стол, где накрыто было пять, шесть приборов и сидел один дежурный по полку.

Саблин думал, подводил итоги прожитому году. Что приобрел он за этот год офицерства? Умение одеваться по форме. Он узнал, что при сюртуке с эполетами нельзя носить высокие сапоги, что в ложах надо быть при эполетах и привозить дамам конфеты, что есть приличные и неприличные клубы, что в приказчичий клуб на Владимирском ходить неприлично даже для игры, также нельзя посещать и благородное собрание на Мойке. Он узнал и большее. Узнал, что любить можно кого угодно, но любовь должна быть скрыта. Что Китти может приехать на квартиру Гриценки, и на глазах у песенников, трубачей и прислуги ее можно целовать, но с нею нельзя пройтись под руку по Павловскому парку, куда вход нижним чинам воспрещен.

Он бросился к Китти. Хотел у нее снова опьяниться страстью. Взволнованное воображение рисовало ее опять соблазнительно прекрасной. Но на даче ее не оказалось. Саблин поехал на Офицерскую. Там была одна Владя. Она сказала, что Китти уехала куда-то далеко, в провинцию. Может быть, вышла замуж не то за аптекаря, не то за музыканта. Владя смеялась в лицо Саблину. Странно было видеть, что Владя так же щурила глаза, как Китти, и глаза у нее были такие же большие, как у Китти, только серые. Близость полного тела и белых рук, обнаженных до локтя, взволновала Саблина.

— Да войдите же, чего стоите! Я одна, — смеялась Владя.

Гостиная была полна воспоминаний. Только гиацинтов в ней не было. Стояли лохматые хризантемы.

— Ну, снимайте пальто.

Было странно, что он так любил Китти, так

* Продолжение. Начало в № 4.

хорошо говорил о ней с Владей, а остался у Влади. Она целовала его, а он называл ее так же "мышкой". Но все кончилось очень быстро, и когда Саблин засовывал растрепанный кредитный билет Владе за корсет, ему было не совестно, и Владя, смеясь, говорила, что это "на булавки".

Все это было пошло, но Саблин не мог не осознать, что это удивительно удобно, никого не шокировало и не марало мундира полка. Но после этого жизнь стала еще скучнее и еще больше хотелось выйти из ее тенет и поставить ее идейно.

Он вспомнил Ламбина. Надо стать таким, как он. Надо серьезно изучить свое ремесло. Стать близко к солдату, узнать его душу и тогда сознательно воспитывать в беспредельной преданности Государю Императору. Это чувство любви к Государю осталось незыблемо прекрасным, и мечта о нем радостно волновала сердце, и мысли о нем были святыми.

Подумал — не идти ли в академию. Академия в полку была не в моде. Туда шли больше артиллеристы, саперы, армейская пехота — семейные люди. Шли от голода. Но Саблин пойдет — идейно. Чтобы расширить горизонт своих знаний и стать образованным офицером.

Он достал программу, книги... Просмотрел. Учить пришлось бы всю историю, начиная с древней, по Иловайскому. Повторять все эти сказки про Периклов, Агезилаев, Алкивиадов. Потом требовалось извлекать квадратные и кубические корни, снова знакомиться с таблицей логарифмов, решать задачу о двух курьерах и светящихся точках. Нужно было по немой карте угадывать реки России и называть города и губернии... Все это показалось скучным и бесцельным для того, что он хотел знать, и он отложил академию до лучших времен.

"Буду учиться у Ламбина и у жизни, — думал Саблин, — войду в солдатскую семью, буду изучать ее на месте в эскадроне, заведу дружбу с солдатами, заставлю их открыть свою душу".

Саблин вспомнил всегда почтительного унтер-офицера Балатуева, на все отвечающего готовыми ответами: "Так точно", "Никак нет", "Не могу знать", "Не солдатское дело", вспомнил тупого Артемова. Тот только потел и молчал при разговоре на вольные темы "с его благородием", и мука отражалась на его лице.

"А Любовин? Любовин — солдат и в то же время свой человек — образованный. Любовин станет мостом. По нему Саблин пройдет в солдатскую среду и станет другом солдат. Они говорили же про песни, и как умно и хорошо говорил Любовин. Любовин от него узнал ноты, и Саблин научил его многим хорошим нотным песням. Теперь при помощи Любовина он сблизится со всем взводом. Узнает душу солдатскую и научится влиять на нее. Вот когда он станет настоящим офицером. Манцев не будет смеяться над ним. Он сделает целые открытия в этой области, где еще никто не занимался".

Саблин бросил книгу, над которой задумался, в два глотка допил холодный чай, вскочил с дивана и пошел в эскадрон.

В эскадроне было пусто и прохладно. Все окна были открыты настежь. Матрацы, одеяла и подушки вынесены во двор. Кровати стояли, открыв свои доски, и имели скучный, нежилой вид. Дежурный бойко отрапортовал Саблину, и эхо вторило ему в пустом зале. Человек двенадцать солдат, мывших полы, вытянулись с мокрыми тряпками в руках, и с тряпок текла и струилась мутная грязная вода.

— Где Любовин? — спросил Саблин.

— В эскадронной канцелярии, — отвечал дежурный.

Саблин прошел в конец казармы и открыл большую дверь, ведущую в маленькую комнату. Это была эскадронная канцелярия. После ярко освещенной сентябрьским солнцем казармы в ней показалось темно. Воздух был спертый. Пахло чем-то кислым. Любовин был один. Он корпел над громадным провиантским листом, сводя по нему расход капусты, гороха, лука и т. п. Он нехотя встал и негромко ответил на приветствие, проглатывая "ваше благородие". Саблин сел на нагретый табурет Любовина и отпустил сопровождавшего его дежурного. Они остались одни с глазу на глаз с Любовиным, и Саблину под настойчивым любопытным взглядом солдата стало неловко.

"С чего начать?", — подумал он. Любовин стоял, опустив руки по швам, и видно было, что его это утомляло.

— Любовин, я пришел к вам, — неожиданно для самого себя переходя на "вы", сказал Саблин, — за советом.

Удивление выразилось в карих глазах Любовина. Он согнул ногу в колене и заложил руки за спину. Саблина это покоробило, но он промолчал. Пришел он с сердечной беседой, и "формалистика" и "руки по швам" здесь, пожалуй, были бы не у места. Он бы даже посадил Любовина, но в маленькой канцелярии был всего один табурет.

Любовин молчал, и Саблина это мучило.

— Да, — продолжал он. — За советом. Вы живете в эскадроне одной жизнью с солдатами, вы их знаете хорошо. Я офицер. Вместе умирать будем, — сам не понимая для чего, сказал Саблин и почувствовал всю неуместность этих слов. — А между тем, мы далеки друг от друга. Солдаты не знают меня, я не знаю их. А мы — братья. Мы братья не только по Христу, как все люди, но братья по полку, так как под одним святым штандартом присягали и одному Государю служим. Вот я и хотел бы, чтобы вы помогли мне стать в

такие отношения к солдату, чтобы мы стали не чужими, а родными. Как братья. И я знал бы все, что таится в их душе.

Любовин смотрел недоброжелательно на Саблина. Ему показалось, что Саблин пришел в целях сыска и шпионажа и хочет воспользоваться для этого им, Любовиным. Он посмотрел на открытое, честное лицо Саблина, в его ясные глаза, не умеющие лгать, и понял, что Саблин имеет не худые намерения.

— Это, ваше благородие, невозможно, — тихо сказал он.

— Но почему? На службе, в строю, мы будем — офицеры и солдаты, а вне службы — товарищи.

— Вот это-то и невозможно, — повторил Любовин. — Вы — барин, они темные и серые люди. Они вас боятся.

— Но теперь крепостного права нет, и все люди вольные. Какие же теперь бары?

— Слишком вы разные. Чтобы вы стали товарищами, чтобы вы могли в полной отчетливости понять солдата, а солдат понял бы вас, надо, чтобы вы стали одинаковыми. Или вы спустились бы до солдата, или солдат поднялся бы до вас.

— Я не понимаю вас, Любовин.

— Извольте, я вам сейчас объясню. Это все, ваше благородие, формально начинается. Приходите вы в эскадрон. Корнет Робтек командует вам: "Смирно!" Вы сейчас это с корнетом Робтеком за ручку. Наше вам почтение, мол. Разговор. Где вчера были? Как опера или там девица какая. А солдатам: "Здорово, ребята". Да смотрите, чтобы ответ громкий был и головы на вас повернуты были. Солдат это чувствует. Вот если бы вы ему ручку, да как, мол, Павел Иванович, ночку провели, — он почуял бы, что стены-то нет. Возьмем далее. Какой разговор у вас с солдатом? "Какой губернии?" — "Вятской, ваше благородие" — "А уезда, волости? Родители есть? Чем занимаются?" — Ну, точно следователь или становой выспрашиваете. Солдат этого не любит. А вы ему про себя расскажите. Вот, мол, как я живу.

Любовин помолчал немного, отставил ногу и испытующе посмотрел на Саблина. Саблину совсем стало неловко.

— Да ведь рассказывать-то этого нельзя, — тихо, шепотом сказал Любовин.

— Почему? — еще тише спросил Саблин и почувствовал, как ноги у него точно свинцом налились.

— Жизнь-то не такая... Оберните ее на солдата. Похвалили бы вы его за такую жизнь?.. Вот и выходит: одно — для солдата, другое — для вас. И ему про себя никак нельзя сказать вам правду. Ну, как он скажет, что у торговки двугривенный украл, или овса дачу продал булочнику, или коня вилой пырнул, просто так, балуясь. Ведь вы его за это не похвалите. Не посмеетесь с ним вместе: "Ловко, мол, бестия, устроил. Так, мол, и надо, отчего не побаловаться". Вам это нельзя. Под арест... под суд... Да, может быть, оно так и надо. Вот и стала между вами ложь. А как ее обойдешь? Ни вам солдату правды сказать, ни ему вам. А когда правды между вами нет, — то стала стена, и как ее перелезешь?

— Ну, Любовин, а если, предположим, читать солдатам? — сказал задумчиво Саблин.

— Что же, ваше благородие, дело хорошее. Солдат любит. Только бесполезное это дело. Что вы ему читать будете? Вот поручик Фетисов этою зимою на занятиях словесностью Тараса Бульбу солдатам читал. Солдаты с истинным удовольствием слушали, ну, а польза какая? Никакой. Солдат слушает, а сам думает: "Все это сказка. Вот ладно придумано". Он тут, как малый ребенок. Принесите серьезную газету, почитайте, растолкуйте, вот тут оборот другой будет. Солдата интересует его дело. А его дело какое — коли он крестьянин — земля, коли он рабочий — капитал. Вас он слушать не станет. Да вы ему и не скажете, как это улучшить его положение. Он пойдет к тому, кто его этому научит. Вы для него всегда помещик и капиталист, и между вами — стена.

— Но, Любовин, как это так? Значит, вы в основу всего ставите социальные отношения?

— Так точно, ваше благородие. Прежде равенство, потом братство. А ведь у нас какое равенство? Даже перед законом и то равенства нет. Для солдата закон один, для офицеров — другой. Солдат солдату в морду дал — ну, и ладно, а у вас, если до такого греха дело дошло, — преступление. Дуэль! Если кто из господ на службу проспит — пустяки, а нашего брата — под арест. Вот снимите эту стену — тогда и откроется душа солдатская.

— Это невозможно. То, о чем вы говорите, Любовин... Я не знаю, понимаете ли вы? Но ведь это — социализм.

Любовин молчал.

— Любовин, — сказал Саблин, устремляя свой пытливый взор в карие глаза солдата, — тогда, накануне парада в Красном Селе, это были вы, Любовин, кто говорил со мной ночью. Это был ты! — воскликнул, вставая, Саблин.

Любовин спокойно выдержал взгляд Саблина.

— Я не знаю, о чем вы говорите, ваше благородие, — медленно проговорил он, становясь смирно и вытягивая руки по швам.

Гадко, противно и склизко стало на душе у Саблина. Он встал и вышел из канцелярии.

— Ну, каковы? — спросил Степочка, в десятый раз оглядывая внутренний караул, построившийся для смены на главной гауптвахте Зимнего дворца. Полковой закройщик Пантелеев с громадными ножницами в руках и с двумя помощ-

никами со щетками, согнувшись, нагибая свою плешивую седую голову и щурясь, проходил вдоль караула, подравнивая ножницами полы мундиров.

— Пантелеев! Пушинку сними... Не там... У второго с правого фланга. Не видишь, на плече у самого погона?.. Так, хороши, говорите вы? — обратился Степочка к дежурному плац-адъютанту, пришедшему, чтобы вести смену.

— Великолепны, полковник. И, знаете, что хорошо? Русская южная красота. Вы замечательно подобрали. У всех маленькие усики. Все, как один, на лицо — кровь с молоком, легкий загар. Тут на прошлой неделе кавалергарды караул выставили. Начальником — барон Моренгейм. Вы его знаете. Сажень роста, розовый, безусый, и весь караул такой. Ну, просто парные телята, да и только. Все светловолосые-гиганты. А, знаете, мне не понравились. Не русское что-то. Не то немцы, не то чухны. А вот ваши, несмотря на форму, — русские богатыри. Так на картину из сказки и просятся... Великолепны!.. И офицер — писаный красавец.

— Да, удался.

Степочка взглядом художника, закончившего картину, оглядел еще раз караул, вздохнул и спросил плац-адъютанта:

— Что же, пора вести?

Плац-адъютант посмотрел на часы и ответил:

— Нет, еще полторы минуты. Комендант будет на смене и может быть великий князь. Вчера казачьего начальника караула на трое суток на губу отправили. По Невскому вел караул мимо дворца. На левом фланге казак не в ногу шел. Беда с этими людьми.

— Красоты не понимают.

— В ней родиться надо, полковник.

Плац-адъютант взглянул на часы и сказал торжественно:

— Ведите.

Степочка еще раз вздохнул. Ему тяжело было расставаться с людьми, любовно им подобранными из всего полка, тщательно вымуштрованными и одетыми в нарочно сшитые мундиры.

— Ведите, корнет Саблин, — сказал он устало.

Саблин вышел по уставу перед караулом и сдержанным, ровным голосом скомандовал:

— Караул! Палаши — вон. На пра-во... Шагом марш!

Степочка крестил караул и осматривал каждого солдата любовным восторженным взглядом. Высокие блестящие сапоги дружно скрипели, позванивали шпоры, и караул шел, держа палаши у плеча. Он прошел мимо толпившихся солдат пехотного наружного караула, мимо своих кучками сложенных мундиров и шинелей, в которых пришел, свернул на узкую лестницу и на ней растянулся. Входя в светлую галерею, увешанную батальными картинами, правый фланг задержался, люди подтянулись, сомкнулись и, ровно скрипя сапогами, стараясь ступать на носках, вошли в громадный Николаевский зал. Кавалергардский караул выстроился навстречу, и мальчик-офицер детским голосом скомандовал: "Палаши — вон!".

Саблин заводил свой караул плечом. Граф Адлербург, комендант, знаток этого дела, и великий князь стояли у дверей и смотрели на смену караулов. Волнение охватило Саблина. Все было просто, проще любой фигуры кадрили, а вот волновался, боялся напутать, не то скомандовать. Караулы стали друг против друга. Действительно, караул Саблина был — картина. Это была выставка русской мужской красоты и, может быть, ни одно государство в мире не могло бы подыскать таких одинаковых людей, в которых красота и изящество черт, тонкие носы, маленькие усики, большие глаза, опушенные длинными ресницами, загнутыми вверх, сочетались бы с физической силой, широкой грудью и сильными ногами.

Люди взяли на караул и застыли. Только желто-красные темляки тихо качались под кулаками в белых перчатках. Саблин поднял палаш к подбородку и подошел к середине караула. Маленький кавалергард вышел ему навстречу. Они остановились и опустили палаши к носкам.

— Корнет Саблин. Пароль: "Варшава", — тихо, чуть слышно сказал Саблин.

— Корнет Шестак, — также тихо ответил кавалергардский офицер.

Оба одновременно подняли палаши к подбородку, отчетливо повернулись кругом, мягко щелкнули шпорами и отошли к своим караулам. Они священнодействовали. Блестящие полы штучного паркета, портрет Государя Николая Павловича на гнедом коне, так написанный, что где бы ни был зритель в зале, откуда бы ни смотрел, все казалось, что Государь скачет и смотрит прямо на него, громадное помещение, люстры из бронзы, увешанные хрустальными подвесками, — все это поднимало дух. Здесь не ляжешь спать, не станешь бегать и кричать, и люди здесь казались не людьми, а часовыми и караулом, призванным охранять священную особу Государя.

Караул Саблина заступил на место кавалергардов. Кавалергарды вышли из зала. Смена кончилась. Парные часовые стали у дверей. Великий князь, комендант и плац-адъютант, вполне довольные правильностью и точностью смены, ушли из залы. Солдаты сели в особые дубовые кресла, где сидеть было неудобно. Они сидели, как изваяния. Каски тускло мерцали, затененные стеною. Лакей в красном кафтане, обшитом позументом с черными государственными гербами, пододвинул малиновое кресло с золотыми ножками и почтительным шепотом доложил Саблину: "Сейчас подам вам фрыштыкать".

Саблину не хотелось есть. Люди караула, си-

девшие сзади и внимательно смотревшие, что подавали и что ел их офицер во дворце у Государя, стесняли. Было подано красное вино в хрустальном графине, но Саблин к нему не притронулся. Он совестился людей караула. Он ел суп крем д асперж, котлеты де воляйль, обернутые гофрированными бумажками, рисовое сладкое пирожное, ему поставили вазочку с яблоком, грушей и виноградом.

Опять чувствовалась разница между ним и его солдатами. Невольно вспомнился разговор с Любовиным осенью после маневров, и чувствовалось, что невозможно сойтись на равную, братскую ногу. Он был гостем у Государя, и Государь кормил его со своего стола. Они были слуги. Им привезли из полка не обед, а горячую пищу в котле, закутанном сукном, и они по очереди ходили есть на главную гауптвахту.

В зале было тихо. У дверей дремотно сидели лакеи, неподвижно стояли часовые. С Невы, замерзшей и покрытой снегом, тянуло холодом. Слышался по торцу, подсыпанному снегом, топот лошадей. Столица жила своей жизнью. Здесь жизнь давно застыла, и, казалось, зал был полон призраками прошлого.

Странно было сознавать, что в двадцати шагах, по ту сторону зала тянется прекрасная Помпеевская галерея, увешанная картинами кисти Рубо, Дмитриева-Оренбургского, Кившенки, изображающими войну 1877-1878 годов, и нельзя подойти посмотреть эти картины. Там, в середине галереи, устроено чудо Семирамиды — большой зимний сад во втором этаже, растут латании, веерные пальмы, музы, висят причудливые орхидеи, а войти туда нельзя.

Нельзя отойти от караула. И выйти Саблин может только в сопровождении трубача. Он охранял Государя, но он не видел его. Он знал, что квартира Государя, называемая "внутренними покоями" находится за Фельдмаршевским залом, где стоят казаки, что там будет коридор, в коридоре высокие двери, где стоят часовые пехотного караула, там же стоят часовые казаки, там же бродят, мягко ступая сапогами без каблуков, конвойцы и сидят чины дворцовой полиции. Громадный дворец полон людьми, стоящими на постах, и в то же время пуст до уныния. В двери видна зала, и еще зала, и всюду у дверей лакеи, кое-где парные часовые, и никого, живущего во дворце. Было жутко от тишины мертвых стен, нарушаемой тихими крадущимися шагами да негромким, точно испуганным, кашлем. Пройдет проворными шагами скороход, но и он не похож на живого человека. Круглая шляпа с белыми, желтыми, черными страусовыми перьями, черный расшитый золотыми лентами кафтан, белые брюки в обтяжку до колен, высокие чулки и черные башмаки с бантами делали его похожим на тень прошлого или на слугу из сказки Перро.

Зимний день проходил. Всего четыре часа — а уже густели сумерки в высоких углах белой с золотом мраморной залы, со стенами, увешанными серебряными и золотыми блюдами. Каждое блюдо было образцом чеканного и граверного искусства, каждое блюдо имело свою историю любви и преданности Монарху. На этих блюдах города и губернии, земства и крестьяне, дворяне и купцы подносили своему Государю хлеб-соль. На них искусной чеканкой и резьбой были нарисованы целые сцены, виды городов и эмблемы...

Они тускло светились в надвинувшихся сумерках и вдруг потонули. Вспыхнули кое-где по зале электрическне лампочки, засветилось несколько свечей в центральной люстре, но не рассеяли мрака. Холодно и жутко стало в громадной зале.

На столе перед Саблнным поставили керосиновую лампу под абажуром. Подали обед...

День проходил. Ночь надвигалась на тихий дворец.

Полна была призраками ночь. Саблин вспомнил рассказ о том, что незадолго до смерти Анны Иоанновны ее тень явилась во дворце. Онв вышла из дверей запасной половины в тронную залу и медленно сталв ходить в зале взад и вперед, ни на кого не обращая внимания. Она была так ясно видна, что караульный офицер вызвал караул в ружье. Императрица прошла мимо, внимательно оглядывая обомлевших от страха часовых, и кивнула головою офицеру.

Этот случай был записан в истории того полка, от которого был караул. Все люди караула под присягой подтвердили, что они видели тень-двойник императрицы.

Что удивительного, что это было? Было бы удивительней, если бы такие вещи не могли быть, когда здесь во дворце все необычно и непохоже на жизнь. Здесь жили монархи, и отсюда управлялась ими вся великая Россия!

Здесь умерла императрица Екатерина II, переписывавшаяся с Вольтером, принимавшая у себя великих людей своей эпохи, сказочная царица, воспетая Державиным. Здесь ходили в пудреных париках, здесь говорили комплименты, и грубые дворяне русских степей учились здесь французскому придворному лоску. Здесь безумный император Павел соединил гробы императора Петра III и Екатерины II, и два враждебных мертвеца свиделись здесь на глазах у многочисленных подданных. Сюда приехал из Гатчины Павел с Аракчеевым заводить свои порядки. Отсюда мистик Александр I писал письма Наполеону. Сюда призвал император Николай I Рылеева и отсюда отправил его на виселицу. Здесь умирал, в луже крови, с разбнтыми ногами, Царь-Мученик, кровью заплативший за то, что дал свободу миллнонам рабов.

Кровь... кровь... Кровь была кругом. Кровь страшных войн, здесь подписанных, кровь эшафотов и виселиц, смертных приговоров, здесь утвержденных.

Саблин сидел в кресле, и дремота не могла им овладеть. Страшно было. Здесь раздался взрыв, и караул Финляндского полка обратился в кучу трупов и стонущих изломанных людей, залитых кровью и осыпанных обломками камней и штукатуркой.

Каждую минуту, каждый час опасность грозит Государю. За что? Только за то, что он Государь. Только за то, что он имел несчастье родиться от коронованных особ и взять на себя тяжелый крест и бремя власти. Сотни людей охотятся за ним, учреждаются тайные общества, чтобы уничтожить его, и с ним погубить Россию.

И в этих покоях нет покоя!

Там, за дверьми красного дерева, украшеными бронзой, в нарядной спальне спит молодая Императрица. Как ей должно быть холодно и жутко в этой чужой стране, с чужими людьми и чужим языком!

Саблин видел ее, высокую, холодную, с русыми золотистыми волосами, с нежным румянцем и серыми большими глазами... Прекрасную...

Спит ли она теперь в этом чужом дворце, в зимнем холоде северной столицы? Если не спит, о чем думает? Томят ли ее страшные призраки и мысли о вечной опасности, о неутомимом преследовании диких чужих людей и не дают ей покоя? Или забылась и спит крепким сном, не думая о новой, непонятной жизни?..

И вдруг дворец наполнится шумом и гомоном, бегущими людьми, затрещат выстрелы часовых, отдаваясь глухим эхом, и здесь начнется страшная война за Государя?

Он, Саблин, сумеет умереть за Государя. Он считает это счастьем для себя... А как они?

Саблин встал с кресла и прошел вдоль караула.

Они сидели, как изваяния, положив руки на колени в белых перчатках, и дремали. Хотел спросить их и не знал, как спросить и что спросить!.. Поймут ли его тревогу?

Саблин подошел к громадному окну. Нева была пуста. Луна светила с парчового неба. Сверкал шпиль Петропавловского собора, и Ангел, повисший на нем, казался страшным видением. Ветер нес поземку по Неве, и казалось, что тени прошлого бегут с нею от крепости к дворцу. Как странно было устроить усыпальницу царей — и рядом казематы государственных преступников. Слышат ли спящие там набальзамированные монархи выстрелы при расстреле преступников и предсмертный шепот людей, отправляемых на виселицу? Слышат ли треск барабанов?

Куранты заиграли на соборе. Их слышит в своей спальне Императрица. Как-то отзывается их печальный перезвон в ее одинокой душе?

Точно тени отделились от Иоанновских ворот и понеслись к дворцу. Тени императоров спешили ко дворцу. За ними гнались тени тех, кто жизнь отдал, чтобы погубить Россию. Восторженный поэт Рылеев, изменники-офицеры Пестель и Муравьев... Желябов, Рысаков и сотни других. Может ли его караул бороться с призраками?

Набережная точно вымерла. Ни одного извозчика или пешехода не было на ней. Группа странно одетых людей, точно идущих с маскарада, без дороги, шла по глубокому не наезженному снегу через Неву. Впереди высокий человек в треугольной шляпе, кафтане и ботфортах с раструбами и с тяжелою тростью в руках. За ним дамы в робронах и фижмах, в белых париках. Дальше мундиры с лацканами, высокие воротники, шитые золотом. Сзади всех четыре служителя в красных кафтанах несли красивого генерала с седеющими бакенбардами. Лица всех были прозрачно белы. Когда они подошли ближе и стали подниматься на набережную по гранитным ступеням, Саблин увидал, что глаза их закрыты: это шли мертвецы. Онн вошли во дворец. Стал слышен шум их торопливых шагов, приближавшихся к дверям в зале. Саблин хотел крикнуть караулу: "В ружье"... — и не мог. Свинцовая тяжесть разлилась по телу. Сонм призраков врывался в зал. Громко треснула дверь... Саблин проснулся.

Он сидел на стуле у окна и спал в неудобной позе. Солдат караула уронил каску, и ее стук разбудил Саблина. В зале был полумрак. Тускло горели по углам и в люстре редкие электрические лампочки. Неподвижно, тяжело вздыхая, сидели люди караула. В соседней зале кто-то сдержанно, хрипло, по-ночному кашлял. Саблин заглянул в окно. Месяц стоял на том же месте. Тускло блистал шпиль Петропавловского собора. Метель курила по Неве. На Мытной набережной, в пятиэтажном доме, светилось одно далекое окно.

Какой-то человек два раза прошел взад и вперед по набережной, заглядывая в окна и беспокойно озираясь. Он был, несмотря на зиму, в одном распахнутом пиджаке. Из-под него виднелась темно-синяя рубаха. Большой финский нож висел спереди на ремне, и два революера были с боков. Человек в черной шляпе решительно подошел к окну, где был Саблин, скинул пиджак и быстро и ловко, как обезьяна, цепляясь за выступы украшений дворца, полез по водосточной трубе. Саблин не шевелился и ждал. Странное оцепенение овладело им. Человек долез до окна и уставился вплотную в лицо Саблина тусклыми светлыми глазами. Он с ненавистью смотрел на Саблина и что-то говорил. Саблин не шевелился. Человек вынул из кармана алмаз и стал резать стекло, осторожно надавливая его пальцами и не сводя серых злобных глаз с Саблина. Только стек-

ло отделяло их друг от друга. Вдруг он пошатнулся, потерял равновесие, взмахнул рукой с алмазом и полетел вниз. Саблин услышал, как глухо, словно мешок с мукой, ударилось его тело о гранитные плиты тротуара... и проснулся. Он понял, что сон продолжается, и он тогда не проснулся, а только видел во сне, что проснулся.

Голова была тяжелая. Он сидел на стуле у окна. Начинало светать. Два казака с головами, закутанными башлыками, проехали верхом по набережной, и копыта их лошадей гулко стучали по торцу, покрытому снегом. Дворец охранялся кругом. Казаки проверяли пехотных часовых. В коридоре, у дверей квартиры Государя, слышался тихий, спокойный шум. Сменялись часовые. Там стояли казаки, конвойцы, пехота и полиция. Все следили друг за другом.

Жутко стало Саблину. Жутко за Государя, так тщательно охраняемого и не могущего никому верить, не знающего, кто, когда и как его предаст!!!

Светало... На улице дворники в серых одинаковых, русского покроя, кафтанах скребли панели и сгребали снег в кучи. Был сильный мороз. От людей шел пар, и лица их были странны. Приехали сани с койками для снега. Лошади стояли и, когда вздыхали, белые струи вылетали из ноздрей. В зале было холодно. Часовые ежились у дверей. У Саблина стыли руки. Лампочки погасли. Бледный свет входил в залу, и блестели паркет и блюда.

Зала вдруг наполнилась людьми в красных рубахах и синих шароварах. Они стали натирать полы. Это пришли полотеры. А может Саблин ручаться, что между полотерами нет того человека с бледным лицом и серыми, горящими нечеловеческою злобою глазами, которого он видел во сне?

Полотеры молча делали свое дело. Они быстро прошли всею артелью по зале и исчезли.

Прошли два скорохода. Один нес раскаленную жаровню, а другой поливал на нее душистый уксус. Уксус с шипением дымился, и по зале пахло чем-то сладким... Так пахло при Александре, Николае, Александре Благословенном, Павле, Екатерине... Быть может, такое же курение было у царей московских в их дворцах-теремах.

Саблину подали чай. Четыре человека, просто одетых, в сопровождении лакея пронесли громадные корзины с цветущими гиацинтами. Лакей посмотрел на Саблина и многозначительным шепотом сказал ему: "В покои Государыни Императрицы".

Сладкий запах гиацинтов остался на несколько минут в зале и напомнил Саблину бело-розовое тело Китти.

Без пяти минут одиннадцать через залу почти бегом пробежал старенький лакей в красном кафтане и почтительно-тревожно проговорил Саблину: "Государь Император".

Опять то же волнение, те же страх и восторг, что на параде и маневрах, заставили шибко забиться сердце Саблина.

За два зала мерно и четко ответили на приветствие люди из казачьего караула.

Из арки подле портрета вышел Государь. Он был в длинном пехотном сюртуке, при шашке, шароварах и в высоких шагреневых сапогах. На голове была чуть набок надетая фуражка... Он шел на прогулку... Шел один.

Саблин, волнуясь, неровным голосом скомандовал построенному караулу: "Слушай, на караул!" — и замер, опустив палаш и смотря прямо в глаза Государю. "Если Государь остановится, — думал Саблин, — я должен сейчас же рапортовать". И мысленно повторял рапорт, чтобы не сбиться: "В карауле и на постах вашего Императорского Величества от..."

Но Государь не остановился. Он ласково моргнул глазами Саблину и сказал на ходу: "Здорово, караул!". Солдаты сдержанными голосами, как их учили отвечать во дворце, ответили: "Здравия желаем Вашему Императорскому Величеству!" — И не успело эхо их голосов заглохнуть по углам зала, как уже Государь скрылся за дверью в Малахитовый зал.

То, что Государь шел на прогулку, в сюртуке, один, казалось как-то слишком обыденным, не подходящим для его величия, но было и что-то трогательное в его появлении здесь, в зале, в одиннадцать часов утра. Если бы он не прошел, было бы скучно вспоминать все напряжение караула, бессонную, полную призраков и кошмаров ночь... Теперь все это скрашено ласковым взглядом серых глаз и ровным спокойным голосом привета.

В двенадцать часов пришла смена. Саблин опять священнодействовал, но теперь никто, кроме дежурного плац-адъютанта, не смотрел на него. Великого князя не было во дворце, а комендант был на смене пехотного караула. Полный, с черной бородкой на сытом холеном лице кавалергардский ротмистр сменялся небрежно. Он опоздал скомандовать "на караул" и, проглатывая слова, неясно представился и долго не мог вспомнить пароля.

— Пароль, — говорил он, — пароль, ах, как бишь его, вот черт... У меня на бумажке записано... Пароль: "Гельсингфорс".

От этого пропадала торжественность и сказочность обстановки. Краски блекли, и все уже казалось обыденным, будничным и далеко не столь важным.

В час дня люди, переодевшиеся в старые мундиры и шинели, шли с Саблиным в казармы. Они были голодны и торопились к обеду. Был сильный мороз и солнце. Снег скрипел под мерными шагами солдат, и в такт звенели шпоры.

От всей сказки караула подле покоев Царственной четы, от блеска и таинственных призраков зала осталось одно физическое утомление и страстное желание скинуть каску, снять с измученного тела тесный мундир и амуницию, броситься в постель и спать, спать!..

Любовин принес Коржикову пакет от Центрального комитета. Ни Федора Федоровича, ни Виктора не было дома. Пакет был в "собственные руки", и Любовин решил подождать.

Было лето. За окном толкались в воздухе и ровно и скучно жужжали мухи, со двора густо пахло коровьим навозом, в поле звонко перекликались швейцарки. Любовин сидел за столом у окна и машинально перебирал тетради в синей обложке с записками Виктора.

На одной он прочел слова: "Важно, глубоко и верно. Руководствоваться в жизни".

"Чем может руководствоваться в жизни этот шалопай, мальчишка, сын юриста Саблина и моей сестры Маруси, — подумал Любовин. — У него, кажется, есть только одно руководство: "Я хочу" — и ничего другого он не признает."

Он надел на нос очки. С годами он стал дальнозорок и без очков не мог читать.

"...Люди — животные, — читал он в тетради, — имеющие вид человека для лучшего служения и большей славы Израиля, ибо не подобает сыну цареву, чтобы ему служили животные в образе животных, но животные в образе человека." Мидраш Тальпиот.

"...Возвысься и стань, как Израиль. По заслугам воздастся тому, кто в силах освободиться от врагов еврейства. Навеки прославится тот, кто сумеет избавиться от них и сокрушить их". Зогар.

"...Победить мир? Воюй с обществом людей, не покладая рук, пока не установится должный порядок, все земные народы не станут рабами твоими". Зогар.

"...Лучшего из гоев умертви, лучшей из змей раздроби мозг". Мехильта.

"...Справедливейшего из безбожников лиши жизни". Софорим.

"...Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"

"...В борьбе обретешь ты право свое".

"...И если вошь кричит в твоей рубашке, возьми и убей!.. Убей!.. Убей!.." — Ропшин (Борис Савинков).

Любовин снял очки, отодвинул от себя тетрадь и глубоко задумался. Пот прошибал его, внутри что-то тянуло, и холодная тоска вползала в сердце.

"Вот оно что! — подумал он. — Вот почему наверху все евреи. И Троцкий, недавно уехавший по какому-то делу в Америку и бывший вместе с Виктором в Неаполе, и Зиновьев, и Радек, и все, все вожди — евреи. Один Ленин как будто не еврей... Как будто! Но ведь Федор Федорович и Виктор не евреи, однако как чтит Виктор эту еврейскую мудрость Талмуда и Каббалы! Какое странное сходство между изречениями древнего еврейства и теми лозунгами, под которыми идет наша партия".

Любовин закрыл ладонями лицо и крепко прижал глаза пальцами. Огненные искры, фиолетовые и красные линии побежали перед глазами, и ему стало казаться, что кто-то сильный, могущественный схватил его и тянет в черную длинную яму, подобную сточной трубе, и не вырваться ему оттуда.

Шум отворяемой двери и стук шагов заставили его очнуться. Коржиков поднимался по лестнице. Он был как будто чем-то озабочен.

— А, Виктор Михайлович, — рассеянно сказал он. — С пакетом. — Он словно ожидал этого пакета. Непривычно дрожащими руками схватил данный ему Любовиным пакет и вскрыл. Лицо его темнело по мере того, как он читал содержание письма. Привыкший скрывать свои мысли, он теперь не скрывал или не мог скрыть своего глубокого волнения.

— Ну, — со вздохом проговорил он. — Пусть будет так!.. Жребий брошен... Все равно, когда-нибудь надо было начинать... Вы знаете, Виктор Михайлович, Германия, а потом Австрия объявили России войну, Франция объявила войну Германии, на очереди объявление войны Англией и, может быть, Италией... Европа в огне.

— Как же быть?.. Федор Федорович, ведь это значит... Мобилизация... Я запасной солдат.

— Вы дезертир, — сказал, смотря прямо в глаза Любовину, Коржиков, сурово улыбаясь.

— Федор Федорович, но... Родина в опасности.

— Родина... — сказал Коржиков, — родина. Бросьте, Виктор Михайлович. Вы читали Маркса и Энгельса?.. Усвоили?

— Смутно все... Вот теперь эта тетрадь у Вити...

— Какая тетрадь?

Любовин подал записки Виктора.

— Ну, что же?

— Так ведь это, Федор Федорович, — жиды.

— Сколько раз я говорил вам, Виктор Михайлович, чтобы вы так не называли евреев. Это ругательное и оскорбительное для еврейского народа слово. Это народ, достойный всяческого уважения.

— Я сопоставлял, Федор Федорович... У меня тут целое открытие.

— Америку открыли?

— Вы смеетесь, а мне страшно.

— В бредни о масонах, что распространяют черносотенцы, уверовали? Недаром я видал, как вы зачитывались "Сионскими протоколами". Но ведь вы знаете, что они подложны?

— Совершенно верно-с. Подложны-с. Но

мысли, мысли не подложны. А теперь эта тетрадка. Наверху у вас все жиды-с... евреи-с. Маркс — еврей, Троцкий, Зиновьев, Радек, все — они-с.

— Но позвольте, дорогой Виктор Михайлович, во главе нашей партии — Ленин, — не еврей.

— Кто его знает. Я уже сомневаюсь.

— Плеханова, надеюсь, вы не подозреваете?

— Но в 1903 году на лондонском съезде Плеханов вышел из партии. Партия раскололась... И смотрите, выписки у Вити. Неужели это программа? Ведь это уничтожение христиан. И подумайте, так и было. Убивали лучших. Императора Александра II весь народ обожал — а убили-с... Возьмите опять — Столыпин... Что же, разве хутора не нравились крестьянам?.. Убили...

— Эк вы, какую песню запели... И в какое время! Ну, слушайте. Повторим уроки социализма.

Коржиков сел за стол, взял тетрадку Виктора и, глядя прямо в глаза Любовину, заговорил тоном учителя, затверживающего урок.

— Что такое государство? Энгельс определяет: государство есть форма организованного властвования одного класса над другим. Что же нужно для свободы угнетаемого класса, то есть — пролетариата? Пролетариат должен организовать такой порядок производства, при котором прекращается деление общества на классы с непримиримыми враждующими интересами. С уничтожением классового деления исчезает и форма насильственного подчинения одного класса другому — государство. Государство становится ненужным и отмирает. Усвоили?

— Туманно немного. Главное, невероятно. Я боюсь, что вот это оно самое и есть, что написано у Вити.

— Что такое?

— Позвольте тетрадку... Вот, извольте видеть. "Я говорю о победе над миром. Воюй с обществом людей, не покладая рук, пока не установится должный порядок, пока все земные народы не станут рабами твоими". Так писано в Зогаре. Вот я и думаю. Государство исчезнет, и люди станут рабами у еврейства, станут животными в образе человека, как сказал Мидраш Тальпиот.

— Сказки черносотенца Нилуса.

— Нет, Федор Федорович, это написано в тетрадке у Вити во время поездки в Неаполь, где он всей этой премудрости обучался.

— Просто случайные выписки любознательного мальчика.

— Совпадения странные.

— Бросьте вы это. Слушайте дальше. Ленин, разбирая это положение Энгельса, спрашивает: каким путем пролетариат достигнет своей цели? И отвечает: прежде всего путем превращения из класса подчиненного в класс господствующий. Он устраивает диктатуру пролетариата, берет в свои руки власть и мерами насилия держит в своем полном подчинении низвергнутый, но еще борющийся класс эксплуататоров. Усвоили?

— Трудно это все. Значит — царя долой, и кто вместо него?

— Да хотя бы любая кухарка.

— Кухарка... А если эти самые... евреи?.. Вон сколько их сюда понаехало, и со всего света... Потом, Федор Федорович, легко сказать: превратится из класса подчиненного в класс господствующий. Да, сделаете-то как? Ну, как я, к примеру, в эскадроне стану на место Гриценки?.. Даже подумать страшно.

— Эк! Забыть не можете капральской палки! А война на что?.. Вы понимаете, война уже началась!

— Война?.. Да разве вы?

Любовин широко раскрытыми глазами смотрел на Коржикова. Он давно видел, что партия многочисленна, что у нее связи со всем светом, но никогда он не подозревал, чтобы она была так могущественна, чтобы мир и война были в ее власти.

— Ну что вы!.. Эк вы какой!.. Император Вильгельм объявил войну России. Император Франц Иосиф объявил войну Сербии. В Сараеве убили австрийского принца. Ну, что же! Яблоко падает на землю не оттого, что земля имеет притяжение, а оттого, что оно созрело и стебелек высох и умер, созрела и война... Да... В Центральном исполнительном комитете партии постановлено, что с точки зрения рабочего класса и трудовых масс всех народов России наименьшим злом будет поражение царской монархии и ее войск.

— То есть... Я не понимаю вас... — сказал Любовин и даже встал из-за стола и стоял, сгибая и разгибая тетрадь Виктора.

— Чудак вы. Для нас выгоднее, чтобы Россия была побеждена.

— Россия?.. побеждена?.. немцами?..

Любовин вдруг ярко представил себе последний парад в Красном Селе. Солнце играет на царственном лице Монарха. Генерал Древениц на большой сытой лошади галопом, с поднятой шашкой, заскакивает к Государю. Рослые, красивые люди, молодец к молодцу, на подбор, на прекрасных лошадях скачут галопом, и пики с флюгерами колеблются в их руках. Перед Любовиным скачет в передней шеренге красивый Дыбенко, солдат с нежной, как у девушки, душою, мечтающий вернуться домой, жениться и жить своею тихою, счастливою крестьянскою жизнью на хуторе под Полтавой, справа нажимает на ногу Любовина литовец Адамайтис, и у него есть тоже свое тихое счастье. Впереди стройная фигура корнета Саблина. Гремит музыка. По всему полю видны расходящиеся полки пехоты, рослых, красивых, сильных людей... Русских... Они будут побеждены, они будут покорены немцами во имя того, чтобы во главе государства вместо императора Николая II, осиянного солнцем, стала кухар-

ка или... жиды... или Ленин. И все это предвидено, все рассчитано теперь, когда война только что началась.

Туман пошел перед глазами Любовина. Он не видел уже бледного лица Коржикова, не тронутого летним загаром, и его маленькой рыжей бородки. В ушах настойчиво звучал величественный Русский гимн и слышался воркующий грохот полковых литавр. Как издалека доносились до него четкие фразы длинной речи Коржикова.

— Маркс говорит: "Исполнительная власть с ее чудовищной бюрократической и военной организацией, с ее широко раскиданным и искусственным государственным аппаратом, армией чиновников в полмиллиона наряду с военной армией в другие полмиллиона — это страшное паразитическое гнездо, подобно гангрене, обвивающейся вокруг общества и закупоривающей все его поры, возникла в период абсолютной монархии, при гниении феодализма во Франции", я добавлю: при крепостном праве в России. Маркс требует разрушения этой бюрократическо-милитаристической машины. Маркс напоминает, что первым декретом Коммуна упраздняла постоянное войско и заменяла его всеобщим вооружением народа. Коммуна образовалась из городских советов, избранных в различных округах Парижа на основе всеобщего избирательного права. Они были ответственны и могли быть во всякое время отозваны. Большинство их состояло, само собою разумеется, из рабочих или признанных представителей рабочего класса. Полиция, до тех пор инструмент государственной власти, тотчас же была лишена всех своих политических функций и была превращена в ответственное и во всякое время сменяемое орудие Коммуны, точно так же и чиновники всех ведомств. И привело все это к Наполеону и империализму, который не изжит Францией и до сего времени. Усвоили?

Любовин молчал. Свои мысли бродили в его голове. Петербург и Москва заняты немцами, и жид, жид стоит во главе России! Разве этого хотят Иван Карпович, Дыбенко, Адамайтис, об этом мечтала его милая, кроткая Маруся?!. Поражение!.. Какой вздор эта французская революция!

И, точно повторяя его мысли, с силой воскликнул Коржиков:

— Какой вздор эта французская революция, — говорит наш великий вождь Владимир Ильич Ленин. — Пролетариат не может не желать поражения своего отечественного империализма — он должен его добиться. Мы пошлем своих людей в армию и в общество, мы широко используем мобилизацию и мы истребим все то, что носит следы империализма. Если нужно, мы попросту убьем их...

— И лучшего из гоев убей! — прошептал Любовин, но Коржиков, увлеченный своей речью, не слыхал его.

— Мы, — говорил нам Ленин, — мы усыпим бдительность обманом. Мы вольемся в ряды армии и будем кричать о победе, а вести армию к поражению. И, когда разбита и уничтожена будет Россия, мы вознесемся. Мы назовем подлостью и низостью все поступки высших классов, и мы не остановимся, если нужно, ни перед какою клеветою и ложью... Мы будем кричать, что кругом предательство и измена, и мы назовем всех лакеями и прислужниками старого строя, но у нас будет все: и непревзойденное мужество, и самоотречение, и вот, когда мы выроем эту бездну между правящим классом и народом, мы столкнем правительство и сядем сами. Мы заберем все средства производства из частного обладания в собственность нового государства — так учат Маркс и Энгельс. Ни у кого не будет собственной иголки, ни у кого не будет своего плуга, но все будет государственное, и люди станут нашим послушным оружием.

— Навеки прославится тот, кто сумеет избавиться от врагов еврейства, — так сказано в Зогаре, — сказал Любовин.

— Вы все свое, бросьте! — крикнул Коржиков, вырывая тетрадку из рук Любовина. — Я вам дело говорю. Это и вас касается. Ленин считает, что первым делом по достижении власти нужно не заниматься парижским бредом или измышлениями социал-предателей и распускать армию, но создать свою армию, этот инструмент власти. На сегодняшнем заседании исполнительного комитета наши роли распределены. Вся наша ячейка получит средства и нужные бумаги и отправится в армию. На Виктора возложена боевая работа. Он, под именем гимназиста Холмской гимназии Виктора Модзалевского, должен отправиться в Заболотье и работать на разрушение казаков и, где можно, истреблять лучших вождей, авторитетных среди казаков лиц. На меня возлагается агитация, распускание волнующих слухов в армии об измене начальствующих лиц, о предательстве и прочем. Вы, Виктор Михайлович, должны устроиться писарем при большом штабе и добывать все сведения и передавать их мне. В наше распоряжение будут отпущены значительные средства.

— Откуда эти деньги? — спросил Любовин и в упор посмотрел на Коржикова.

Никогда не красневший Коржиков залился краской и резко ответил:

— Это не наше дело. Наше дело исполнять то, что приказано.

— Предательство Родины... — тихо, качая головою, проговорил Любовин. — Шпионаж в пользу врага, убийство лучших вождей во время ужаснейшей войны... Это... социализм?.. Это то учение, которое мы считали выше христианства?!.

— Виктор Михайлович, — угрожающе сказал

Коржиков, — не забывайте, что вы связаны партийной дисциплиной, и партия сумеет заставить вас молчать.

— И даже навеки, — проговорил Любовин. — Это и называется свободою слова!

Он направился к выходу, но выйти ему не удалось. В распахнувшуюся дверь, не спрашивая разрешения, вскочил юркий, вертлявый еврей, лет тридцати пяти, с вьющимся коком бронзовых волос над лбом, в пенсне на носу и с маленькими усиками и рыжей бородкой на бледном исхудалом лице.

— Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ Федор. Ну, и дайте мне пожать вашу руку. О! Какой восторг охватывает мое пламенеющее сердце! Ну и здравствуйте, товарищ Виктор... Ну, и почему вы такой пасмурный, когда наконец мы у порога нашей победы!

Он поздоровался с Коржиковым и Любовиным и стал на фоне окна, опираясь на подоконник и скрестив на груди руки.

— Ой! Как хорошо! Ну, вы, конечно, знаете — уж-же война! Война научит людей презирать жизнь, научит людей убивать. Вы понимаете, это главное, остальное все готово.

— Вы забываете, товарищ Бродман, — сказал Любовин, останавливаясь у двери и припирая ее спиною, — что в сердцах людей есть еще любовь. Война еще не значит — ненависть

Больное чувство зародилось в нем, и жуткая струна звенела в его сердце, казавшемся опустошенным до дна. Точно эта беседа с Коржиковым порвала те последние нити, что оставались в нем и привязывали его к жизни. До этого разговора он все еще верил, что социалисты против смертной казни, против крови и насилия.

— Любовь?.. Странный вы человек, товарищ Виктор. Любовь — это похоть. И вы, интеллигенция русская, вы, писатели русские, давно свалили в помойную яму чувство любви. Вы всегда любите говорить, что это все сделали евреи... Ну, и где же евреи?.. Вы, вероятно, помните "Бездну" Леонида Андреева. А?.. Вы помните, как слюнявые гимназисты читали "Бездну", и "Бездна" кое-кого поглотила?.. А?.. Помните "огарочников" 1905 года, помните русских бледных девушек с подсиненными веками, что отдавались направо и налево, а потом гордо уходили из жизни?.. От "Крейцеровой сонаты" Толстого к "Бездне" Леонида Андреева и "Санину" и "У последней черты" Арцыбашева, — вы видите, это же большая работа!.. Литература — отражение жизни. И Санин — идейный большевик, и такими мы должны стать.

— Зачем? — глухо спросил Любовин.

— Как зачем? А чтобы наплевать в самое сердце людей, вытравить из него то, что влечет их на подвиги.

— У русского народа с его неприличной руганью это уже давно сделано, — сказал Любовин.

— Что народ? Стадо скотов! Надо вытравить следы этого рыцарства у тех, кто ведет этот народ, и в этом отношении товарищ Яков прав, — сказал Коржиков.

— Но у простого народа есть религия, — сказал Любовин.

Он ненавидел густою страшною ненавистью в эти минуты и Коржикова, и Бродмана.

Бродман засвистал.

— Ну и что вы говорите, товарищ Виктор, смеху подобно! Религия?.. Ну, и кто теперь верует?.. Посмотрите, что делается у храмов?.. Внутри — старики и старухи, а подле — толпа парней и девок. Смех, шутки, ругань, гулянье, деревенский флирт. Ну и это, вы скажете — религия? Вы скажете — русский народ, верующий народ... Ничего подобного. Ну какая деревенская девушка до брака не имела ребенка? И вы скажете после этого: брак — таинство? В русском народе давно нет таинств. Это нам очень хорошо известно.

— Хорошо, — сказал Любовин, — допустим, что все то, о чем мы говорили с Федором Федоровичем сейчас, удастся. Допустим, что мы станем у власти. Кто пойдет к нам?

— Ну, о чем думать, товарищ Виктор?.. Ну и что, вы не знаете русского народа?.. Это у нас, в России, говорится: было бы болотное место, а черти найдутся, ну, я вам так скажу: явится власть, а подлецы и лакеи революции найдутся... Прикормим... Человек — самое подлое животное в мире, а русский — особенно. И знаете, не только найдутся, но руки будут нам целовать, славословить нас, в газетах такие статьи печатать!

— Кто? — устало спросил Любовин. — Чернь, холуи, хамы!

— Нет, товарищ, — с убеждением сказал Бродман, — академики, ученые, вельможи, князья, артисты, писатели.

— Но кто вы такие, что так убежденно говорите: мы, мы. Кто вы такие?

— Я? Я вам-таки прямо отвечу, кто я. Я — жид. Да, жид, которого долгие века гнало русское правительство, я человек, слишком знакомый с тем, что называется чертою оседлости. Не вы ли, товарищ Виктор, в гимназии складывали из полы мундира свиное ухо и кричали: "Жид свиное ухо съел!" В университет я должен был попасть в процентную норму, а на Невском во время демонстрации меня казак избил нагайкой только за то, что я жид! Ну, и вы знаете, я поклялся тогда, что будет день, когда молодежь, студенты и гимназисты будут приветствовать меня и носить на руках. Да... И, знаете, эти самые казаки будут повиноваться мне, и станицы изберут меня своим почетным казаком. Ну да! И девушки лучшего общества придут ко мне и будут ласкаться, а я буду терзать и мучить у них на глазах их братьев и женихов.

— Вы сами не понимаете того, что говорите! Казаки, девушки..

— Ну и что такого?.. И вы не знаете, что нет предела человеческой подлости!

— Вы мне кажетесь сумасшедшим. Известие о войне опьянило вас.

— Ну и что, товарищ! Ну, и вы слыхали — через бездны к звездам, ну, мы устроим — через бездны к звездам! Подойдемте к пучинам и заглянем в самые черные пропасти! Что?.. Раскроем тайну бытия и посмеемся!

— Посмеемся, — глухо и мрачно сказал Коржиков.

Он был чем-то недоволен и все искоса поблескивал своими маленькими глазками на Любовина.

Бродман не унимался. Он все это время ходил взад и вперед по комнате, теперь остановился в углу и скрестил на груди руки в наполеоновской позе. Он, и правда, в эту минуту чувствовал себя каким-то большим и всесильным. Ему казалось, что все, что он говорит, уже осуществляется. Он мысленно окидывал взором всю партию, где знал только ближайших руководителей, почувствовал мощную организацию.

— Война, — сказал он торжественно и решительно тряхнул подбородком. — Какое безумие! Старый мир гибнет. Народы, гонимые властью, по воле своих императоров бросятся уничтожать друг друга. Капиталисты всех стран перегрызлись между собою, и миллионы людей погибнут, отстаивая их золото! Пхе! Люди гибнут за металл! Сатана там правит бал!!! Совершается то, что мы готовили в таинственной тиши долгие; многие годы. Из потоков крови встанут уже не люди, а животные, объединенные жаждою крови и насилия. Эта война — последняя схватка народов.

Бродман замолчал. Коржиков сел за стол и еронил свои густые волосы. Какая-то забота тяготила его. Он все посматривал на Любовина. Любовин по-прежнему стоял у двери и внимательно, боясь проронить хотя одно слово, слушал Бродмана. Он был мертвенно бледен и тяжело дышал. Казалось, вот-вот он бросится на Бродмана.

— Все полетит! Все к черту! — вдруг вскрикнул Бродман так неожиданно, что Коржиков вздрогнул и поднял на него лохматую голову.

— Все, все погибнет. Погибнут народы, нации потеряют свой облик. Благородство, честность, вера, чувство долга — все к свиньям под хвост. Туда им и дорога! Ни к чему это, товарищи, — буржуазные предрассудки. Не мы, а они разрешили народу кровь... И не остановят... И когда ослабнут, когда погибнут лучшие люди, когда вытечет вся их кровь, встанем мы и предъявим длинный счет. Когда вы пьянствовали, сладострастничали, когда вы сидели во дворцах и раскатывали на автомобилях, когда вы носили тонкое белье, шелка, бриллианты и опьянялись вином, музыкой и женщинами, мы сидели в темных рабочих квартирах, мы изнемогали в страшной целодневной работе, мы стояли у раскаленных горнов на ледяном ветру сквозняков, мы задыхались в вони жилищ, мы отдавали своих дочерей вам на наслаждение. Мы умирали вашими рабами!.. Га! Мало кровушки нашей попили! Теперь мы будем пить вашу кровь, мы потребуем на свои постели нежное мясо ваших подруг, мы войдем в ваши дворцы и съедим и выпьем ваши запасы!.. Мы устроим пир бедноты и мы расхитим и растащим все, что вы копили и берегли! Га!.. Прошлое, предки, история, слава!.. К черту в болото и славу и историю! Все бледно и серо и нету героев! Нет, товарищи, в грядущей революции мы не дадим вам Наполеона!.. Пусть та серая, липкая, вонючая грязь, что накапливали мы в рабочих кварталах, зальет мишурный блеск их знамен и орлов. Красная тряпка, а не знамя! Кровавые лохмотья, а не шитые золотом мундиры... Общий голод и чавканье пожирающих трупы, а не брачные пиры. Смердение разлагающихся тел, а не фимиам победных курений!.. Все лучшее к свиньям, к чертовой матери!.. И лучшего из гоев убей! Убей!.. И, если вошь кричит в твоей рубашке — возьми и убей!.. Пусть в зверином сладострастии копошатся люди, как белые черви в навозе!.. Вот вам равенство!.. Все одинаковые, все белые, все склизкие, все вонючие, все одним навозом питаются! Вот наши цели! Создать равенство червей!..

Бродман поднял руки кверху, растопырил пальцы и с силой выкрикнул, ни к кому не обращаясь:

— Мы дали вам бога и мы дадим вам — царя!..

Громко, как ружейный выстрел, хлопнула дверь. Любовин вышел из комнаты.

Любовин спускался по лестнице, держась за перила, и ноги не слушались его, перед глазами была темнота и сознавал он одно: — конец.

Он стремился к тому, чтобы все было хорошо. Ему хотелось, чтобы не будили песенников в два часа ночи для удовольствия девок и разгулявшихся офицеров, чтобы не было солдатчины и не грозил багровым кулаком ему под самое лицо вахмистр Иван Карпович. Ему хотелось, чтобы не было насилий, крови, не было смертной казни и страха возмездия. Он шел в партию и верил, что она несет равенство, братство и свободу, несет любовь и теплое отношение одних к другим. Он хотел верить, что там, куда он шел, тоже христианство, но только без попов, без обрядов, без мистицизма и легенд.

Тетрадка Вити, жесткие слова Коржикова, поручение ехать предавать Россию, наконец истеричные, полные страшного смысла выкрики Бродмана его поразили.

Вот куда его вели!.. К равенству навозных червей. Вот что ему обещают вместо красного импе-

ратора, царственно величественного, ему дают — жида! Он думал, что если вымокнет под дождем на параде Государь или убьют его, не станет царя и все станет по-новому, лучше, красивее, богаче.

Что же на деле? Торжествующий жид и море крови! И нет возврата! Никуда не убежишь!.. Все следят друг за другом, все, как заклейменные, друг другу известны. Заставят исчезнуть при малейшем намеке на измену.

Исполнить их волю? Ехать в армию, поступить писарем? А узнают? А попадешься!.. Виселица...

Любовин переходил улицу. Он не видел ясного солнечного дня, не чувствовал нежной игры теней от листьев густых акаций, дубов и кленов. Глицинии на фасаде его дома, усеянные гроздьями лиловых цветов, его не радовали. К нему бросилась, ласкаясь, собака Эльзы, он невнимательно погладил ее. "Эльза, — подумал он. — Эльза верная, как собака. Эльза милая, уютная, ласковая, простая. Укрыться у нее, сказаться больным и лежать дома, пока все они не уйдут. А потом опять: кофе по утрам, кормление кур, хождение на почту, а вечером — гитара и цитра и сладкие песни так любимой Родины".

"Ну, что же! Все-таки жить!"

Он смелее стал подниматься на крыльцо своего дома. В столовой и гостиной нижнего этажа Эльзы не было, но наверху в их спальне слышалась какая-то возня.

Любовин стал подниматься в спальню. Он приоткрыл дверь... Заглянул...

Раздался женский крик... Грубое ругательство.

Любовин тихо закрыл дверь. Шум продолжался. Сомнений не было. Он потер себе лоб и медленно стал спускаться с лестницы. Никаких мыслей у него не было в голове. Последние капли жизненной энергии были выплеснуты безжалостной рукою. Он уже ничего не понимал. Вместо радостного июльского дня он видел страшную дыру, куда тянули его невидимые руки. Он им не противился. Он не мог остановиться. Он повиновался им. Два раза повторил: "Сын Маруси... Виктор... Виктор!" и потом громко сказал: "От него всего можно ожидать!"

И уже решительно, точно твердо зная, что ему надо делать, пошел через двор в сарай, где были сложены дрова и где висели тонкие крепкие бечевки для просушки белья. Он старательно осмотрел сарай, запер двери, деловито, по-хозяйски осмотрел лоханку, отыскал в ней маленький обмылок, точно обрадовался ему, схватил его жадными руками и, отвязав веревку, полез на стол и стал прилаживать ее на балке.

Он делал все спокойно, раздумчиво, внимательно, движения были уверенны, руки не тряслись, и только из темных глаз, ставших вдруг большими, глядела страшная пустота. Душа не смотрелась больше в них.

Продолжение следует

Александр Педан

КОЛОДА

Рассказ

Егорыч не спеша вышел за калитку. Погладил лысину, почесал бок. Посмотрел по улице вправо, влево — никого. Огорченно крякнул и повернулся назад, но во двор заходить не стал, а только сплюнул и калитку плотно притворил, для пущей гарантии накинув проволочное кольцо на околыши.

— Не дай бог куры из двора шмыганут... Матрена жизни не даст, стоймя зарежет. Дура баба. Ей казака в гроб загнать, как воды напиться! Куры дуры и бабы тож!

Егорыч возмущенно почесал затылок и сел на бревно, лежащее тут же, у плетня.

Плетень и бревно — гордость Егорыча. Ни у кого на хуторе не было плетня, а у него был! И какой плетень? Живой! Сперва, правда, обыкновенный был, камышовый. Потом из веток. Каждый год Егорыч заменял сломанные ветви и жерди на новые, орудуя где ножовкой, где секатором. Работа кропотливая, требующая умения и терпения. Сам-то Егорыч не всякую работу любил. Всю жизнь проработал конюхом в колхозе. А конюх — он что? Тот же шофер. Привезти чего — это с милой душой, а вот нагружать да разгружать, извините, не та профессия. Вот и Егорыч такой же. Но плетень... Тут дело другое. Тут любовь и гордость!

Плетень и хата достались в наследство от отца. Дело святое! Он, отец-то Егорыча, завещал все, как есть, беречь, а про плетень сказал так:

— Ты, Ванька, плетень береги и забор из штакету не городи... Забор от человека, а плетень от века...

И слова не очень-то мудреные, а вот запали они тогда Ваньке в душу, да так и остались в ней на всю жизнь. Уж давно его Егорычем зовут, а наказ помнит. Может, оттого, что через неделю после тех слов отец помер... Слова, перед смертью сказанные, самые главные слова, видать.

Ну, а живой плетень потому, что со временем стал Егорыч под него подсаживать растения всякие: и вьющиеся и деревца. Чего там только нет: плющ, акация, ива и много еще чего. А вместо столбов-кольев — тополя пирамидальные. Зацветет по весне — любо-дорого...

А бревно, или, как называли хуторяне, колоду Егорыч притащил еще когда работал. Лет двадцать назад. Лошадьми тащил, через весь хутор. Пылищи было — лошади фыркали. Люди удивлялись, зачем ему эта колода? Для строительства не годится, на столб — тоже... Егорыч только посмеивался, хотя и сам толком не знал, зачем она ему. Просто понравилась — и все, вот и приволок домой.

Приволок, да так и бросил у плетня, но с тех пор повелось... Как только вечер, собираются на колоду старики, сидят — покуривают, о жизни толкуют, о политике. Бабы сойдутся — кости всему хутору перемывают. Ну, а после них молодежь приходит. Магнитофон крутят, под гитару поют. Ну и любовь, естественно, тут зарождалась. Много свадеб через ту колоду гуляно. Так ли, нет ли, но когда на хуторе свадьба, то всегда приглашали Егорыча с женой и тосты провозглашали — за молодых, за отца и мать и, как закон, за Егорыча и его колоду. Шутили, конечно, но все-таки... Потому-то Егорыч и гордился своей собственностью и ухаживал за ней. Каждый год колоду покрывал олифой, не давал гнить, не без основания утверждая, что это бревно приносит людям счастье, а поскольку оно его личное, то он, Иван Егорович Боков, и есть хранитель счастья людского. Главней председателя, потому как ответственность выше!

Из широких латаных штанин достал "Беломор", вынул папироску, постучал ею об пачку. Неторопливо закурил, закашлял старчески, протяжно и, сощурив глаза от дыма, стал смотреть в степь.

Хутор тянулся километров на пять вдоль речки, с двух сторон опускаясь огородами к берегам. Местные шутили: у нас хоть и пол-улицы — зато две! Это потому, что сзади огороды да речка, а спереди — дорога да степь. Оно и не степь, конечно, а колхозные поля, но местные называли гордо — степь! По старинке оно, дескать, понадежней.

Сквозь степное марево долетел далекий, тонкий крик перепелки.

— Ишь ты! Живы еще, бедолаги... Не всех потравили... Бог даст, может, и не вытравят вовсе... — покашливая, пробормотал старик.

Вечерело.

Правой рукой Василий нащупал пачку, лежащую на сиденье пассажира, но сигарет в ней не оказалось. Он вздохнул и выбросил пачку в окно.

На очередной кочке машину бросило в сторону. Василий ударился плечом о дверцу и инстинктивно нажал на тормоз. Двигатель заглох.

— Ну и дорожка... — пробормотал он. — После дождя хуже гравийки. Надо же, как высушило!

Василий вышел из машины, ударил каблуком по кочке, которая выпирала над краем колеи. Та отломилась и с глухим стуком запрыгала по дороге.

— Хм... — констатировал Василий. — По такой дороге машину разбить — плевое дело. И как они тут ездят?!

Подумал, улыбнулся: "А ведь по этой дороге сам пацаном гарцевал, аж пыль стояла. Приеду, надо будет попробовать — босиком!"

Василий чиркнул пальцем по лобовому стеклу, оставив след на тонкой пленке пыли, и сел за руль. "Жигули", пьяно покачиваясь, двинулись вперед.

Ехать оставалось немного — с километр. Василий косил глазами в сторону хат и редких домов, высматривая кого-либо из знакомых, но хутор словно вымер. Только в одном из дворов он заприметил старушку, которая кормила кур.

Вот и знакомый двор, старенькая бабушкина хата, в которой он провел почти все свое детство. Машину остановил прямо у ворот. Посигналил, извещая тем самым всех о своем прибытии.

Старый пес Полкан тяжело вылез из будки, не узнавая, посмотрел недоверчиво на Василия, тряхнул головой, отгоняя мух. На всякий случай разок хрипло гавкнул и побрел к деревянному корыту пить воду.

Василий откинул крючок на калитке, прошел к хате. Дверь оказалась запертой. "Куда ж она ушла, бабулька? Может, на огороде копается?" Решил сходить на задний двор.

Куры шарахнулись от незнакомого человека, свинья в свинарнике сердито хрюкнула. С десяток гусей возмущенно загалдели, а вожак пригнул шею к земле и, по-змеиному шипя, побежал на Василия.

— Ну-у... Страшный какой, — засмеялся тот и махнул рукой. — Расшепелявился. Иди, иди, а то девок своих прошепелявишь...

Василий открыл маленькую калиточку в огород. Никого. Пожал плечами и повернул обратно. У двери хаты увидел старика с папиросой в руках. Узнал, заулыбался:

— Здравствуй, Егорыч!

— А-а... Вон-на кто пожаловал. — Васятка! А я думаю, кто й там по чужому подворью шастает? Может, цыган, думаю, кур воровать нападился? Когда гляжу — вроде свои... Ну, здоров, здоров! В гости, значит? Молодец. Не забываешь бабку. Правильно живешь, стало быть... Во как! Старые люди заботу любят. Да-а...

Все это старик говорил хоть и не быстро, но безостановочно — Василий не успевал отвечать, только улыбался и пожимал сухую и твердую, как сук, ладонь Егорыча.

Оба искренне радовались встрече. Друзьями были, хоть и по годам разные. Василий любил деда за его умение рассказывать всякие истории и выдумывать возможные небылицы, а Егорыч любил парня за умение слушать.

С детства Василий помнил рассказы Егорыча. Слушал завороженно, открыв рот, а тому только такого слушателя и надо, чтоб вовсю развернуться. И еще помнит Василий, что на самом интересном месте рассказа приходила бабка Матрена, жена Егорыча, и начинала всегда одно и то же:

— И чего это ты, старый черт, хлопцу голову дуришь? Околесицу всякую несешь! Ты его, Васька, не слушай. Он отродясь ничего путного не говорил. Так, брехня одна. Вон куры всю рассаду поклевали, проклятые, а ему и горя мало! Э-эх!— И махала рукой, серчая. Васька тогда голову к земле клонил, носом сопел. Обижался как бы за друга. А тот подмечал это, гладил шершавой ладонью Ваську по голове, посмеивался и Матрене в обратку:

— А Васька-то поумней тебя, бабка... — поднимал вверх палец и как-то торжественно-удивленно добавлял: — Он слушать умеет! Добрый будет казак, добрый!..

И к Ваське:

— Ты на нее зла не держи, не дуйся. Поймешь! Не от себя она это. Природа у них, у баб, такая. До венца баба аль девка от бога, а как токма в колечко-то обручальное пальцем ткнет, от черта становится. Во как!

— Вот ты-то черт и есть! Анчихрист по мою душу... — взрывалась бабка и уходила, что-то бормоча под нос.

— В гости, значит, к бабке? — повторил Егорыч, оглядывая сверху донизу Василия. — Я смотрю, справный ты и одежа хорошая. Знать, жена хорошая. Ты чего ж без нее приехал?

— Да я по делам, в станицу приезжал, ну и решил к вам на хутор заехать — проведать... А Татьяна дома, на хозяйстве осталась...

— Хе... Да какое ж у вас, городских, хозяйство?

— А дети?

— А-а... Ну да. Это, конечно... Никуда не денешься... Ну, а чего ж мы стоим? Пошли ко мне, посидим, поговорим... Бабка твоя с моей сатаной в станицу подались, на базар, а я тут на два двора хозяин. К шести их поджидал, а нету их... Видать, последним автобусом прибегут — в восемь. И чего там с утра делать? Ну, так шо? Пошли к деду-соседу, побалакаем...

— Конечно, пошли, только машину загоню во двор.

— Ну да, ну да. Загони. Машина-то новая, видать?

— Год назад купили.

— "Жигули", что ли?

— Они самые.

— Ну-ну... Устраивай свою жигулю, а я тебя на бревнышке подожду.

Василий загнал машину во двор. Достал из багажника сумку. Покопался в ней и вынул полиэтиленовый мешочек с куриными костями. Высыпал все собаке. Специально вез угощение. Пес оскалил было зубы, но, унюхав запах деликатеса, завилял хвостом. Василий запер ворота и накинул на калитку крючок. Сумку взял с собой.

Егорыч поджидал его на колоде. Василий подошел, сел рядом.

— Егорыч, сигареты у меня кончились... Угости, а?

— Можно, а чего ж?.. — старик протянул пачку.

Некоторое время сидели молча, дымили. Наконец Василий примял окурок ногой и, словно извиняясь, сказал:

— Егорыч, я тут вам и бабушке моей колбасы привез и масла... Надо бы в холодильник положить...

— Ух ты!.. — встрепенулся старик. — И нас не забыл, значит? Ну, спасибо. Бабка приедет, я те деньги отдам...

— Да какие деньги? Это же гостинец.

— Ну, как же так?.. Я слыхал, колбаса ноне кусается. В нее, говорят, и бумагу какую-то суют... Не то туалетную, не то нашию какую, чтобы цену, значит, сбить... Бумага-то дешевле... А она, цена-то эта проклятущая, балакают, никак не падает... Во как!

— Не-е... Эта без бумаги. Копченая.

— А, ну тогда ладно, — старик лукаво улыбнулся, собрав на лице сеть морщинок. Он решил, что очень тонко выведал все про колбасу. — А вот холодилки-то у нас и нет, на кой она черт? Ток жрет, а держать в нем нечего, акромя бабкиных пилюль. Опять же химия в ней, в холодилке твоей... Читал я — фреон называется... От ево дырки какие-то в воздухе... Брешут, видать, про воздух? Как в ем можно дырки делать? Никак, отрава какая!

— Фреон! Газ такой... Он холод дает, — поправил Василий.

— Холод погреб должен давать! — поучительно сказал дед. — Тебе сколь годов?

— Тридцать пять...

— Во! А мне без малого восемьдесят. Дай тебе бог прожить столько на твоем газу!

Василий засмеялся. Спорить со стариком было бесполезно. Дед в своей жизненной философии был непоколебим. Чтобы лишний раз не заводить старика, он переменил тему разговора.

— Ну, а как насчет этого газа?.. — И вытащил из сумки бутылку водки.

Егорыч поперхнулся дымом. Глаза сощурились, кадык дернулся, ладони пристукнули по коленкам.

— Ну, Васька... Ну, душегуб!.. Я ж тебя сызмальства нянчил, а ты вон-на что вытворяешь... Ты чего ж это, шельмец городской, над стариком измываешься, а? Я тебя пацаном на лошадях катал? Катал! А как где замес... У кого ты лошадей просил? У меня! Нешто я не давал? Давал! А лошадь или там конь... это для казака што? Для казака это... Это жисть! Во как! Стало быть, жисть я для тебя не жалел, а ты..? Ма-асло... Колбаса-а... А казацкое угощение попридержал, байстрюк!

Василий, слушая обвинительную речь старика, смеялся. Знал он эту слабость Егорыча к спиртному. Тот, правда, никогда не напивался, меру знал, но выпить любил при любом случае. Василий это помнил и старался с пустыми руками не приезжать. Да и выговаривал сейчас Егорыч не всерьез, а в шутку. Это у них была как игра. Старик при каждом приезде Василия терпеливо ждал "казацкого угощения", а тот специально тянул с этим. Зато, когда появлялась бутылка, тут уж Егорыч показывал свое ораторское искусство и все укорял Василия за издевательство над ним.

В хуторской магазин спиртное не завозили. Егорыч знал, что достать водку, даже в городе, сложно и дорого, и если Василь приезжал пустым, не спрашивал, не намекал. Понимал. Вздыхал только. Ну, а сегодня есть. Бабы дома нет, никто лишний раз пилить не будет, а бутылка есть. Это ль не праздник?!

Старик, прочитав проповедь своему молодому другу, подобрел, по колоде похлопал, на которой сидели.

— Помнишь? Тоже тута девкам головы дурил. — Усмехнулся.

— Помню, конечно... — Василий провел ладонью по бревну. — Аж отполированное...

— Ну да! А как же? Бабы каждый вечер задами полируют, покамест всех хуторских не переберут на язык... Этому бревну годов сорок будет...

— Да ну, сорок... Откуда? Лет двадцать всего!

— Ты, Васька, как городской стал, так шибко спорить навострился. Ну, лежит оно тут лет двадцать — верно, так ведь росло оно тоже годов двадцать. Вот и считай... — выкрутился дед. — К этому бревну все ниточки из хутора тянутся. Все тут сиживали. И моя жисть на него намотана... Во как! — Егорыч задумчиво вздохнул, погладил колоду и, крякнув, встал. — Ну, пойдем до хаты, закуску поищем...

Хата, вросшая в землю, состояла всего из двух маленьких комнат и коридорчика. В передней комнатушке на тумбочке — телевизор, на стене — изъеденный молью ковер. Печка. По дру-

гую сторону, у окошка, стол да две тумбочки. У дверного косяка, на стене — доска с вбитыми в нее гвоздями — вешалка.

Во второй комнате и того меньше. Двуспальная кровать, комод и фикус в кадке. В углу образок в белых рушничках и с горящей лампадкой. Две табуретки.

Егорыч хмелел быстро, но головы не терял. Рассказывал неторопливо, как жил. Вспоминал молодость свою:

— Мы, нть, Василек, в кулаках ходили. Это когда Советы пришли к власти. Лошадь у нас была и корова... По тем временам зажиточными считались...

— А батраки были?

— Да ну, какие там батраки. Отец с матерью хребтину гнули от зари до зари, не разгибались. И мне доставалось... Потом в колхозы стали загонять... Отец-то мой добровольно хотел туда итить, да приехал какой-то комиссар из району и записал нас всех во враги народа... Хотели нас выслать, да... У нас самая лучшая пшеница урождалась... Отец-то мой в ей толк знал! Председатель хотел секрет узнать... Што да как... А какой секрет? Земля! Она пот любит! Вот и весь секрет... А комиссар с председателем все думали, что мы таимся от Советской власти, все следили за нами да родней нашей. Брат-то отца не выдержал этой слежки да в плавни подался. Его бандитом и окрестили. Как-то ночью пришел он, а с ним еще трое... До утра они с отцом картошку сажали, чтоб мы с голоду не подохли. У нас к тому времени все забрали... Яйца куриные, и те... Ну, вот. Сажали они, а кто-то, знать, видел, ну и донес... Судили прямо в этой хате. Потом всех пятерых вывезли на лиман да в камышах там и... Я все, как есть, помню... Мы с матерью в сельсовет ходили... Чтоб, значит, забрать покойников, похоронить — не разрешили...

Егорыч рассказывал неторопливо, задумчиво, но без боли и вздохов. Отболело, видать, отпздыхалось, и только когда разговор касался бабушки Василия, трезвел вроде бы, приосанивался. С уважением говорил, ласково.

Запели было песню Егорыча любимую "Скакал казак через долину", да не допели. Егорыч прервал на середине, заплакал. Встал, подошел к Василию, поцеловал в голову, пробормотал:

— Эх, внучек... Хорошее твое угощение, да воды в ем мало, а тоски много...

Что он хотел этим сказать, Василий не понял, но видел, что старика что-то канудит. Спрашивать не стал. Захочет, сам скажет, а нет, пусть при нем и останется.

Егорыч стоял, пошатываясь, долго смотрел в одну точку и вдруг сказал:

— Все, Василь! Отпился я... Все! Больше капли в рот не возьму. Не возн больше... Видно, помирать скоро... Во ка-ак выходит... значит...

— Рано тебе еще помирать, Егорыч. Ты чего это? Давай лучше спать!

— Э-эх!.. Хороший ты казак, Василь, и бабушка у тебя... Маша... Плетень меж нами... Эх! Мог бы ты... Ну, ладно! Жизнь, она того... Ну, давай спать...

Василий обнял старика, довел до кровати, уложил, подождал, пока уснет. Убрал со стола. Спать пошел в машину, в хате места, кроме кровати, не было.

Проснулся, солнце высоко, в салоне жара. Из машины вылез потный, рубашку снял, потянулся. Воды из колодца набрал, умылся. Вдруг у заднего бампера заметил мешок. Развязал, а там груши. Все, как на подбор, желтые с красным боком.

— Отдаривается старик, — подумал Василий тепло, — надо будет мешок вернуть. На хуторе мешок вещь ценная.

Выложил груши в багажник, переложил травой, чтобы не побились. Оказалось, что мешок отдавать некому. Егорыча нигде не было: ни в хате, ни в огороде. Ушел куда-то. Василий аккуратно сложил мешок под дверь. Приедет хозяин, приберет на место.

Бабушку решил тоже не дожидаться. Когда она еще приедет? А сегодня на работу во вторую смену. Пока доедешь, то да се... Через два месяца отпуск. Вот тогда и можно будет прикатить на недельку, отдохнуть.

Два месяца спустя Василий, действительно, приехал.

Бабушка рассказала новости. Какой-то дурак (иначе не назовешь) ночью оттащил грузовиком колоду Егорыча за лесополосу, облил ее там бензином и сжег. По слухам, вроде бы из ревности. То ли невесту свою на той колоде с другим застал, то ли еще чего. Точно неизвестно, а только утром Егорыч по следу нашел то место. Часа три около пепелища сидел. Матрена приходила, ругалась, что без дела сидит. Он головой кивал, соглашался, а к вечеру помер...

У Василия закололо, заныло в груди, а бабушка вышла в сенцы, а через минуту вернулась с пустым мешком в руках.

— Не знаю, чего у вас там было, а в тот день Матрена явилась. Иди, говорит, Ванька кличет. Ну, я пришла, а он на койке лежит, белый весь, а глаза ясные. В головах у него мешок вот этот. Глазами на него показывает и говорит, что, мол, отдай его Василию, как приедет. Потом за руку меня взял, сжал и... помер. Видно, еще что-то сказать хотел, да не успел. Царство ему небесное да земля пухом. Мне, видно, тоже туда собираться надобно. Ваня помер, а руку мою так и не отпустил, пальцы разжимали. Светлый был человек... Сердцем чую — звал он меня с собой...

Бабушка говорила тихо, спокойно, а по морщинистым щекам — слезы. Не вытирала, не замечала.

Есть у старых людей какая-то взаимосвязь. Видно, самой жизнью налаженная, оттого и крепкая, неразрывная. Недолго после смерти Егорыча и бабушка жила. Тоже умерла, сердешная. Люди говорят, что от тоски, да разве точно узнаешь?..

Григорий Василенко

СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ*

3. КАЗАЧКА ПАША

Как и договорились на последней встрече, мы отправились с Иваном Алексеевичем на такси в загородный ресторан. Он сам предложил этот "Охотничий дом", недалеко от шоссе, в лесу. Как только мы зашли в уютный темноватый зал, обставленный под старину, с охотничьими трофеями на стенах, к нам подошел знакомый официант Ивана Алексеевича, предложив занять стол на двоих в укромном месте, у раскрытого окна, где нам никто бы не мешал. Поскольку разговор шел на русском языке, то я заключил, что официант тоже эмигрант.

Мы уселись друг против друга, перебросились последними неутешительными новостями о положении в Чехословакии и перешли к тому, на чем остановились на последней нашей встрече. Иван Алексеевич не забыл, что меня интересуют события двадцатых годов на Кубани, а я хотел, чтобы он продолжил свой рассказ о них как непосредственный участник, живой экспонат истории тех лет.

Мне казалось, что Иван Алексеевич неисчерпаем в своих воспоминаниях. Он уже назвал мне немало личностей, когда-то имевших вес в обществе и определявших в те грозные годы политику на Кубани. Упоминал он и генерала Улагая. Его имя я связывал с улагаевским десантом на Кубань и провалом этого вторжения, казавшегося мне авантюрной затеей белых генералов, битых красными войсками. "Если не удался деникинский поход на Москву, — думалось мне, — когда до столицы оставалось рукой подать и нависла серьезная опасность для всей Советской республики, то начинать Улагаю все сначала, откуда уже начинал Деникин, было безумством". Я так и сказал Ивану Алексеевичу.

— Генерала Улагая я знаю с пятнадцатого года, когда он прибыл в 1-й линейный полк из Дикой дивизии, в чине есаула. С первых же дней он на нас, офицеров, произвел гипнотизирующее впечатление. Не зная его характера, мы уже восхищались его личной храбростью, — рассказывал Иван Алексеевич.

— Полное спокойствие на лице, хладнокровие, презрение к смерти в бушевавшей стихии боя выделяли его среди офицеров. Дальнейшая боевая жизнь показала, что он был еще и крайне самолюбивым и гордым человеком. В 1916 году зимой его назначили помощником командира полка по строевой части. Будучи непосредственным нашим начальником, он стал любимцем офицеров и казаков. Одинаково относился ко всем офицерам, нередко брал на себя роль "буфера" между офицерами и командиром полка. Во время боев был строг и требователен в проведении операций. За что и получил Георгиевский крест и георгиевское оружие. В первые дни революции быстро понял, что революция набирает силу и всякая борьба за старое остается безуспешной, но тем не менее, возмущаясь красными бантами и красными флагами, заставил офицеров, не желавших еще признавать полковой комитет и новшества, пойти навстречу революции. Поэтому, когда летом в 1917 году уезжал из полка, его казаки провожали восторженно.

И они же скоро обвинили его в контрреволюционности. Он попал в тюрьму в Могилеве с Деникиным как корниловец. Как только его освободили, бежал на Кубань, где и жил до Октябрьского переворота. При всех своих качествах он обладал, между прочим, еще одной особенностью. Любил комплименты, как бы незаметно принимал их. Позволял младшим говорить все, спорить с ним на какие угодно темы, но с тем, чтобы ему принадлежало последнее слово. Этого он не упускал. В случае противного он уже менял отношение к этому офицеру. Кажущаяся свободная доступность удерживала его на высоте в полку. Он понимал, что ему нужно быть таким, каким его желают видеть офицеры. Менялся и подстраивался как-то незаметно. Вместе с этим, он был все же одинок, офицерство охладело к нему, как к бывшему большому начальнику. А в то время командир полка был именно большим начальником.

На Кубани, когда началась борьба с большевиками, он сформировал отряд, ядром которого были офицеры Линейного полка. Опять-таки при нашей поддержке, наших рассказах о нем, мы

*Окончание. Начало в № 3, 4.

ему составили известность. Боясь его из-за широкой известности, зная его храбрость, генерал Покровский сразу же стал его врагом. Улагай ответил ему тем же. В результате во время ухода первый раз из Екатеринодара, в восемнадцатом, Покровский в одной из станиц хотел его судить военно-полевым судом за неисполнение приказа, и только благодаря вмешательству офицеров, которые окружили суд с оружием в руках и напугали судью генерала Карцева, его отпустили.

Соединение с Корниловым дало возможность ему избавиться от Покровского. При взятии Екатеринодара Улагай был ранен в живот. Отношение к нему Корнилова, да и тяжелое ранение, полученное в бою, заставило обратить на него внимание "добровольцев". В августе 1918 года Деникин назначил его начдивом, а потом командиром корпуса. Применяя тактику быть вблизи своих частей во время боя, видеть его картину, лично распоряжаться, он завоевал симпатии в своих войсках. Запрещение же им грабежей заставило о нем говорить и общество. Вот почему, когда умер атаман Успенский, Улагая хотели избрать в атаманы. Скобцов, Иванис и другие деятели Рады полагали, что, направляя Улагая по политической дороге, они воспользуются его качествами, уладят распри с Деникиным. Их надежды не оправдались.

От атаманства Улагай отказался. Он откровенно заявил, что в политические игры не играет, а быть орудием политиканов не желает.

Я же от себя могу добавить, что он боялся попасть под влияние политических деятелей, боялся того, что, не разобравшись в политике, мог наделать кучу ошибок, которые всю его прошлую карьеру свели бы на нет. Улагай отказывался от командования армией и только под давлением англичан согласился на это, но вскоре как командующий совершенно не проявил себя, красные били его не раз. То же самое случилось и с десантом в 1920 году. Потом он сам оправдывался, что его поставили в какие-то тяжелые условия. План де операции составлялся без него, и, что называется, в командование десантом его втиснули. Я думаю, что это не совсем так. Он не согласился бы служить в "Объединенном казачьем совете", нужда и полное безденежье заставили принять предложение, а что вот заставило командовать десантом?

Как только Улагай с остатками десанта каким-то чудом выбрался на Крымский берег, сразу попал в немилость к Врангелю, и тот уволил его из армии. Звезда Улагая закатилась. Да и Врангель недолго продержался. Я случайно узнал, что Улагай побирается в Константинополе, не имея совершенно никаких денег, живет в Бюок-Дере на каком-то пайке, "загоняя" свои многочисленные ордена. Он разделил участь битых генералов.

Весною 1921 года на острове Лемносе, командуя сотней беглых казаков, я как член Рады неожиданно получил письмо от Скобцова, доложил по команде. Мне дали кучу поручений, и я отправился в Константинополь с того проклятого всеми живыми острова. Скобцов приглашал меня по какому-то важному делу, а оказалось, для отправки на Кубань как хорошо знающего предгорье. Он тут же, на первой встрече, предложил мне подобрать партию. Я согласился только лишь потому, что твердо решил не возвращаться в Лемнос. Подобрал себе партию из тех, кого знал: полковника-юриста Бисерова, прокурора на Лемносе, полковника Орлова, полковника Лиманского, бывшего эсера штабс-капитана Дьякова и двух рядовых для услуг. Все они изъявили готовность бороться с большевиками, о чем я доложил Скобцову. Для воодушевления он меня познакомил с организацией "Объединенный Совет", с ее ближайшими задачами. Я терпеливо выслушивал, даже кивал в знак согласия головой, а сам не верил ни одному слову.

На вопрос, кто будет меня отправлять, Скобцов от прямого ответа уклонился, сказав, что это будет комиссия, но техническая часть отправки и подготовки лежит на одном лице, которому он написал письмо, и дал мне адрес. Этим лицом оказался бывший полковник генштаба Ерарский, служивший в 1918 году в Киеве в контрразведке белых, потом — в контрразведке Врангеля. Он и заведовал исполнением технической части отправки партий и одиночек на Дон, Кубань и Терек. Скоро я узнал, кто был в комиссии. В нее входили: Скобцов, Апостолов, врач, фамилии не помню, кажется, Попов. Они выдавали Ерарскому деньги, он перед ними же и отчитывался. Зная, что комиссия бедна, я поинтересовался у Скобцова, откуда они берут деньги. Ответ получил весьма уклончивый, но все же можно было предположить, что большая часть денег шла из Парижа. Меня это тогда очень интересовало. Я хотел знать, кто нас посылает в Россию. По толком я так и не разобрался, кто же наши истинные хозяева.

Отправка моей партии задерживалась из-за того, что не находили подходящего судна. Пришлось ждать. Наконец нашли старую посудину — "Отважный". Я не разбирался в морских судах, но мне говорили, что на этой дырявой, кое-как залатанной калоше можно добраться.

Пришлось согласиться на путешествие по Черному морю. В чувалах с половой принесли скрытно револьверы, винтовки, снаряжение, а перед самым выходом посадили и нас на судно. Ерарский меня предупредил, что на этом же судне отправляется и партия таких, как и мы, в Крым. Я запротестовал, но он уверял меня, что высадят сначала нас, а потом крымцев. Протестовать и жаловаться было некому. Пришлось подчиниться.

В первый же день выхода в море капитан объявил мне, что они сначала идут курсом в Крым, а потом, наверное, повернут на Галац, так как угля не хватит на всю операцию. Я запротестовал и решительно потребовал держать курс к берегам Кубани, но он потребовал в море подчиняться только ему, капитану. Я фактически был арестован. На второй день плавания главная машина испортилась, пароход два раза останавливался для починки. Уголь истощался быстро. "Отважный" делал не больше трех узлов в час. К вечеру капитан приказал повернуть судно на Галац. Дня через четыре мы попали в устье Дуная, а потом в Галац как потерпевшие аварию. У моей партии были документы с визой на Новороссийск. Поэтому румыны посчитали нас большевиками и на берег не пустили.

С нами на пароходе была женщина по фамилии Садовская. Для чего она ехала, я совершенно не знал, но когда к нам подозрительно отнеслись румыны, то она помогла в переговорах. Капитан, она и один из крымской партии поехали в Бухарест.

Были слухи, что Садовская чуть ли не жена Скобцова, имеющая особое задание. Ранее она работала у эсеров, а сам Скобцов находился у нее под пятой при решении политических вопросов, подчиняясь ей во всем.

Единственная женщина на судне вызывала много пересудов. С ней связывали все неудачи нашего похода. Предлагали даже втихую выбросить ее за борт. Садовская, заметив враждебность к ней, струхнула и призналась, что она направляется в Польшу по поручению эсеров к Савинкову, но перед этим ей надо с кем-то встретиться в Крыму, и просила защитить ее.

После возвращения капитана из Бухареста я потребовал, чтобы мою партию высадили в Румынии, так как от дальнейшего плана я отказывался. Румыны не соглашались. Тогда на отходящем из порта пароходе "Румыния" мне кое-как удалось устроить свою партию и возвратиться в Константинополь. Судьба же "Отважного" сложилась плачевно. Простоявши недели две в Галаце, крымская партия получила помощь из Константинополя деньгами для покупки угля и ремонта. После ремонта отчалили в Крым, но перед высадкой на берег в море попали в шторм, испортились машины, судно потеряло управление, и его прибило к берегам Анатолии. "Отважный" вернулся в Константинополь в очень жалком виде. В Константинополе комиссия и Ерарский потребовали от меня отчета. Я его написал, а деньги но 15 лир, оставшиеся от поездки, разделили поровну в своей команде. После этого меня пригласил к себе не кто иной, как сам Улагай. Он в ожидании благоприятных результатов от поездки Скобцова в Париж готовил новую широкомасштабную экспедицию, решив сразу послать партии на Кубань, Дон и в Терскую область. Начальником экспедиции Улагай назначил полковника Бурду. Меня же Улагай назначил на должность помощника Бурды по политической части. Полковника Гамалия — начальником Ейского отдела, Крыжановского — Майкопского, Буряка — Таманского.

Зная Гамалия как человека, абсолютно несведущего в политике, грубого офицера, не умевшего держать себя, стремившегося к власти, Крыжановского как пьяницу, абсолютного профана как в военном, так и в политическом деле, но тоже стремившегося к власти, я высказал Улагаю в отношении этих господ офицеров свое мнение. Они с первых же шагов могли испортить дело, которое им поручалось. Улагай, подозревая, что я просто был недоволен своим назначением, наговорил мне кучу дерзостей, после которых я не продолжал разговора. Мне нужно было поступить именно так, уехать на Кубань без всяких заданий. Я хотел самолично убедиться, как живут люди в России, как относится народ к Советам. Вот поэтому я и порвал с Улагаем. Я, как говорят, "зайцем", никому ничего не доложив, стал пробираться домой, на Кубань. Его начальник штаба, полковник Думский, пытался сгладить инцидент, но для меня уже все было решено.

— Мне приходилось слышать еще о каком-то Улагае, — сказал я Ивану Алексеевичу.

— Был, был... Кучук-Улагай, полковник, какой-то родственник этого самого генерал-лейтенанта Сергея Улагая. О нем ничего не слыхал. А вот полковник генштаба Думский в том разговоре со мною сказал, что Улагаю безразлично было где служить и кому служить. Я нисколько этому и не удивился, когда узнал, что он в 1924 году подрядился с отрядом казаков на службу в Албании. Там его снова, как на Кубани, побили. После этого генерал переметнулся к немцам, пошел в услужение к Гитлеру.

...Домой я добрался с превеликим трудом. Отец мне рассказал, что в округе неспокойно. По ночам с гор спускались бандиты, налетали на станицы, грабили, убивали. А по утрам громко причитали женщины. Я еще в Константинополе слышал о бело-зеленых в горах, возглавляемых бывшими офицерами, заброшенными на Кубань из-за границы, но в то, что они занимаются бандитским промыслом, мне поначалу не верилось. Офицеры — и вдруг бандиты?..

Как только я объявился в станице, меня чуть ли не через день допрашивали чекисты как бывшего есаула, врангелевца.

Я о себе ничего не скрывал, рассказывал, что вернулся домой без всяких злых намерений, ничего не замышляю, никаких шпионских заданий не имею, с прошлым порвал, обещал пахать землю, сеять хлеб — и только.

В станице располагался отряд под началом чекиста Хоржика, хитрого мужика, преданного делу революции, своего рода фанатика. Это был

удивительный человек. Ну, хотя бы тем, что он меня не арестовал, хотя и не совсем верил мне и, наверное, про себя называл очень модным тогда словом — контра. Отряд, как я понял, вел борьбу с бандами и очень нуждался в помощи станичников.

Хоржик присматривался ко мне, я к нему, подолгу вели разговоры. он расспрашивал об эмиграции, об офицерах, которых я знал по службе у Деникина и Врангеля. Мне, конечно, понятно было, куда он клонит. Я не сомневался, что последует предложение сходить в горы и кое-что разузнать. Но мне удалось его убедить, что засевшие в горах бандиты не поверят мне, поскольку Советы меня приняли и не трогают, а вот если что-то дойдет до меня о зеленых, то непременно скажу. На этом мы пока и сошлись, хотя Хоржик все же продолжал сомневаться, не убегу ли я в лес. Но я решил сдержать свое слово. В лес не собирался.

Надо отдать должное Хоржику и умело проведенной операции по проверке меня.

В одной из предгорных станиц чекисты его отряда прихватили связника бело-зеленых, молодую девушку, и с ней повели работу, но об этом я узнал значительно позже. Видимо, от нее Хоржик узнал о том, что я знаком с возвращенцем-врангелевцем, которому они тоже не совсем доверяли. Начали расспрашивать меня, кто он такой?

Каширский Максим... Малограмотный казак из станицы Удобной Армавирского отдела. Служил рядовым, службой царю дорожил, но был уволен по болезни. В 1914 году вновь был мобилизован и отправлен на фронт в 1-й Хоперский кавполк, откуда, некоторое время прослужив, направлен в школу шоферов в Петроград, которую окончил в 1915 году, и был назначен шофером 1-й казачьей Кубанской кавдивизии. По тем временам это было примерно то же, что летчик сегодня. Пробыв год шофером, он убежал в отряд, которым командовал в то время есаул Шкуро. В этом отряде он и служил до революции. За боевые отличия был произведен в вахмистры, получил два Георгиевских креста и медаль, по демобилизации возвратился в станицу Удобную, где и проживал до 1918 года, а потом снова попал к Шкуро личным шофером.

Будучи раненым, возвратился в станицу Удобную, пробился в станичные атаманы. В марте 1919 года его вызвал Шкуро и опять назначил своим личным шофером, присвоив ему чин хорунжего.

Служил он Шкуро верой и правдой, но, представьте себе, оставшись после отступления белых в своей станице, при появлении отряда зеленых под командой Хвостикова ушел к нему в горы. Тот произвел его в сотники.

Под напором красных частей он вместе с Хвостиковым через Ясихатский перевал ушел в Грузию, откуда эвакуировался в Крым, в армию Врангеля, получил чин есаула и был назначен командиром дивизиона. С остатками армии Врангеля эвакуировался в Константинополь, а оттуда в Грецию, на остров Лемнос. Его возвращение на Кубань мало чем отличалось от моего. Вернувшись домой, он скрыл все свои чины и по своей наивности думал, что все ему так и поверили и он останется обыкновенным станичником. Но не тут-то было.

Его судьба интересна тем, что в нем уживалось как бы два человека. Сам он бедный казак, в войну стал лихим рубакой красных, прошедшим выучку у самого Шкуро, но не побоялся возвратиться домой. Скрывать долго свое офицерство не мог, сошелся с чекистами, вылавливавшими бандитов в горах. Он помог ликвидировать банду Васильева, сам застрелил этого предводителя. Вот и поймите этого шкуринского шофера-есаула.

Банду-то ликвидировали, но с бандитизмом покончено не было. Объявился новый главарь банды — вахмистр Козлов, бывший подчиненный Каширского по службе в 1-м Лабинском кавполку. Каширский считал его большим трусом, не способным на что-то серьезное. Сам пришел к чекистам и предложил свой план, как обезопасить станицу от бандитских набегов, — доставить живым этого главаря. Чекисты пошли на довольно рискованный шаг — назначили Каширского милиционером станицы, дабы привлечь к нему внимание как к доверенному Советов и иметь возможность через него выследить банду Козлова, связаться с ним. Об этом узнали главари других банд, на что и рассчитывал Хоржик.

Предводители бело-зеленых, зная Каширского как шофера Шкуро, преданного им рубаку, доверяли ему. Кажется, осенью на встречу с ним пошел сам войсковой старшина Ковалев, главарь крупной банды. Он предупредил Каширского, чтобы тот им не мешал взять седла в станице Предгорной, причем сказал, что приедет вместе с полковником Козликиным. Каширский — рад стараться, заверил их, что в назначенный день разошлет всех милиционеров кого куда и они смогут без всякой опаски сделать намеченное дело. Установив точно день приезда Ковалева с Козликиным, Каширский сам организовал засаду для их поимки, но Ковалев с Козликиным сами не прибыли, а прислали своих подчиненных из банды, которые ночью в темноте Каширским были приняты за Ковалева и Козликина.

Каширский окликнул их, а те, испугавшись, бросились бежать. Узнав об этом, Ковалев заподозрил Каширского и решил свести с ним счеты. Они подкараулили его и убили. Жаль. Он мог бы столько рассказать о Шкуро. Признаюсь, я тоже участвовал в операциях по ликвидации банды Ковалева.

После убийства Каширского подозрение в

предательстве пало и на меня как его приятеля. Ковалев и Козликин охотились за мной. Я опасался попасть им в лапы. Чекисты, исходя из моего послужного списка, рассчитывали на меня, но я не мог быть "слугой двух господ". Ковалев и Козликин могли меня убить, а ЧК, заподозрив, — расстрелять. Надо было решать. Но в это время чекисты напали на след Прасковьи Васильевны, задумали комбинацию по ликвидации банды Ковалева и Козликина, организовали по своему плану наше знакомство.

Тут я должен рассказать о Прасковье Васильевне, смелой, отважной женщине, с которой меня так неожиданно свела судьба.

— Чекисты свели, — заметил я.

— Я все же предпочитаю ссылаться на судьбу.

Иван Алексеевич поднял бокал с вином, подержал его, потом как будто что-то вспомнил, налил вина в рюмку и поставил ее на чистую тарелку посередине стола.

Я понял все его приготовления. Он снова поднял бокал, посмотрел своими печальными глазами на меня, повел рукой к наполненной рюмке, стоявшей между нами, указывая мне на вино, и выпил до дна. Я молча последовал за ним. Так мы помянули Прасковью Васильевну.

— С 1920 года в городе Медвежинске, — начал издалека Иван Алексеевич, — существовала подпольная антисоветская организация, участником которой состояли отец и брат Прасковьи Васильевны. Когда эта организация была властями раскрыта, то часть ее членов была арестована, а остальные бежали кто куда. В числе бежавших были отец и брат Прасковьи Васильевны, захватили они с собой и ее. В то время ей было 18 лет. Из бежавших участников организации впоследствии организовалась вооруженная группа бело-зеленых. Со своим отцом она больше не встречалась, но слышала, что он ушел в Польшу. Находясь вместе с братом в Подгорненском лесу, Паша примкнула к банде Пономарева. В одном из боев с красными ее брата убили. В августе 1921 года она пробралась в станицу Подгорную, где ее поймали красноармейцы, но вскоре амнистировали, и она поступила в служанки в станице Отрадной к доктору Попову, а квартировала у своей подруги Михайленко в станице Подгорной. В 1923 году ее арестовали за пребывание в банде и отправили в станицу Отрадную, но добрый начальник милиции освободил ее. По прибытии обратно в станицу Подгорную Пашу опять арестовали и угрожали расстрелом. Она из-под ареста каким-то чудом бежала в лес и присоединилась к отряду бело-зеленых, а точнее, к банде Ковалева.

— Не того ли самого, с которым вы встречались в Константинополе?

— Конечно, того...

Активного участия в банде она, конечно, не принимала. Была там, как и все, рядовой, но когда произошло слияние малочисленных групп бело-зеленых банд под общее командование Ковалева, последний предложил ей заняться вербовкой агентуры в станицах, добывать информацию. И пошла она по заданию Ковалева по станицам для выяснения, какие стоят там воинские части, как там смотрят на бело-зеленых, что замышляет отряд Хоржика. Окольными путями, вступая в разговоры со станичниками, она выясняла настроения казаков. В станицах Упорной и Вознесенской просила помочь бело-зеленым продовольствием, одеждой. Ее обращение станичники отвергли. В Упорную она явилась по заданию Ковалева к Ивану Сурину, с сыном которого Ковалев был знаком. Сурин был согласен помочь банде, но по бедности сам нуждался в помощи. В Вознесенской она обратилась по рекомендации Ковалева к Алексею Сухову, которого Ковалев тоже знал по службе в белой армии. Завербовав Сухова в осведомители, она просила помочь тем, кто находился в лесу, но как и в Упорной, на ее просьбы мало кто откликнулся.

В станицу Бесстрашную пошел сам Ковалев, но тоже ничего не добился. Станичники и ему отказали в помощи. А есть в лесу что-то надо было. Тогда он со своими подручными налетел на станицу и ограбил казаков. Унесли и увезли все, что могли: хлеб, одежду, обувь, оружие, скот.

Бело-зеленые жили в горах и лесах в полном неведении, что происходит поблизости от них, не говоря уже о событиях, происходящих в мире. Лучшей для них новостью, которую они ждали, была бы война против России.

От кого-то услышали, что Польша напала на Россию. Послали Пашу в Армавир выяснить подробности. Отправилась туда. Каждый раз после ее возвращения Ковалев в своем отряде рассказывал новости, которые она приносила. Но больше всего его, пожалуй, интересовали планы Хоржика против него. Ему нужен был осведомитель из людей, который общался бы с Хоржиком или его командой.

Выбор пал на меня. И он послал Пашу ко мне. Правда, не сразу она наведалась, а искала людей, у которых я бывал или они у меня бывали. Ковалев считал, что со мною можно договориться, но не знал, что я не мог простить ему бандитского убийства Каширского.

Паша довольно смело переступила порог моего дома. Рослая, крепкая девушка в казацком отороченном кожушке, в платке и сапогах, она предстала передо мною, как лесная фея. Передала мне привет, прозвучавший, как пароль, от полковника Ковалева. Я сразу понял, зачем ее послал предводитель лесной шайки лесовиков, но не собирался задерживать курьера и выдавать ГПУ, хотя понимал, что рискую жизнью, если узнает об этом Хоржик.

Прежде чем перейти к деловому разговору, я

предложил ей снять кожушок и поужинать, зная, что прошла она много верст и, наверное, проголодалась.

Своими заботами я поставил ее в довольно затруднительное положение, да еще подошел к ней, как галантный кавалер, в ожидании, пока она снимет свой кожушок, чтобы повесить на вешалку. Паша не ожидала такого ухаживания, какое-то время раздумывала, но усталость пересилила все ее опасения, и она сняла свою одежду, доверила ее мне. В руках я ощутил тяжесть одной полы и сказал ей, что она может не беспокоиться за предмет, лежавший в кармане.

Потом мы с ней долго сидели в сумерках и вели неторопливый разговор. Она старалась выполнить задание Ковалева, а я хотел понять, почему она примкнула к банде и не порывает с ней. И уже в тот же вечер я осторожно наводил ее на мысль, что не женское это дело — скитаться в горах, бродить, как бездомный бродяга, по станицам, подвергая себя опасности в любое время быть схваченной чекистами.

Паша больше загаенно слушала, не со всем соглашалась. Ей хотелось, чтобы я понял ее. "Не глядите на мое лесное обличье. Я не такая, как вы думаете", — говорила она мне. Помню, спросила, как я отношусь к полковнику Ковалеву. Я ответил, что отношусь к нему, как к заблудившемуся в лесу человеку, пытающемуся найти выход, но кругом горы, лес, и он никак не может выбраться, ходит по кругу, а такой человек близок к отчаянию, так как его бивуак — это крохотная точка в океане, и надежды на спасение — почти никакой.

— Вы не согласились бы помочь ему? — как гимназистка, выполняющая благотворительное задание, спросила она меня, имея такое поручение от полковника.

Этот вопрос чуть было не рассмешил меня неопытностью в его постановке, наивностью, но я быстро собрался и принял серьезный вид. Значит, Ковалев все же рассчитывал на меня, испытавшего до краев все мытарства у Деникина, Шкуро, Врангеля, побывавшего в Константинополе и помаявшего жизнь на каменистом Лемносе. Я же вернулся домой, чтобы пахать землю и не касаться политики, и вдруг — опять предложение. Но за мной стоял Хоржик. Я знал, что он охотился за Ковалевым и его бандой. Я должен был ему помочь, чтобы больше не лилась казачья кровь. Разговор с Пашей хотелось продолжить, и я предложил ей остаться у меня переночевать, гарантируя безопасность. Она согласилась. Место я ей отвел на печке.

И на следующий день мне не хотелось отпускать Пашу в лес, да она и сама не рвалась туда, но нужно было возвращаться. Я перекрестил ее. Добралась она до бивуака в горном ущелье, доложила полковнику о разговоре со мною. Ковалев остался доволен ее работой, потирал руки, но не пропустил того, что вернулась она несколько изменившейся, задумчивой. Видно, Паша не могла совсем скрыть своих раздумий после долгих переговоров со мною, которые заронили в ней какие-то сомнения во все то, что она делала, руководствуясь местью красным. Из леса вернулась она через два-три дня с заданием — разузнать, когда уйдет из станицы отряд Хоржика, в каком направлении, по какой дороге.

...Отряд ушел. Паша сообщила об этом Ковалеву, положив зашифрованную записку в тайник где-то за станицей. Я невольно был втянут в западню, которую, очевидно, готовил Ковалев коменданту Хоржику, хотя я и давал себе зарок во всех этих делах придерживаться нейтралитета.

Но представьте себе, как я обрадовался, когда узнал, что Хоржик, покинув со своим малочисленным отрядом станицу, изменил маршрут. "Ну, какой же он умница, — повторял я про себя. — Какой груз снял с меня". А у Ковалева закралось подозрение, что Паша продалась Хоржику, подсунув ему ложную информацию. Ковалеву она клялась и божилась, что она сама наблюдала, по какой дороге пошел Хоржик, сама написала то, что видела. Полковник, видимо, рассчитывал перебить отряд Хоржика, а у него все сорвалось. В гневе он рвал и метал, решив вывести Пашу на чистую воду. Ковалев снова и снова допытывался у Паши о разговорах со мною. А через несколько дней она в темноте постучала ко мне условным сигналом в окно. С каждым разом мы все больше доверяли друг другу, и это доверие начало объединять и сближать нас. Паша была моложе меня, и однажды я почувствовал, что в ее отношениях ко мне есть что-то невысказанное. Очевидно, она ждала от меня шага навстречу ей, а я не решался. Уж слишком неподходящее время было для объяснений в любви.

Ковалев дал ей задание встретиться со мною и передать его, полковника, приказ мне, есаулу: прикончить красного дьявола Хоржика, добавив, чтобы я рассматривал этот приказ как не подлежащий обсуждению, поскольку он от самого Улагая!

В подтверждение своих полномочий полковник Ковалев велел мне передать, что он прибыл из Константинополя с офицерами для объединения разрозненных отрядов белого движения, действовавших в горах Кубани. Ссылаясь на данные ему Улагаем полномочия, он считал, что мог приказывать всем бывшим офицерам, служившим у Деникина и Врангеля, и я должен считать себя мобилизованным и выполнять его приказы.

Вот тут-то мы и задумались, как же нам быть, как выбраться из этого положения. Убивать Хоржика я не собирался. Сказал об этом прямо Паше. Но полковник требовал от меня что-то вроде письменного подтверждения получения приказа и принятие его к исполнению. Как мне рассказала Паша, такое задание он уже давал через нее од-

ному станичнику, обещая вознаграждение золотом на три пары волов. Мне никакого вознаграждения он не обещал.

Я решил рассказать Хоржику, как на духу, о приходе ко мне связной от Ковалева, предложившей сотрудничество с бело-зелеными, и что я дал согласие, посчитав его полезным для Хоржика.

Комендант подробно расспросил меня о Паше. Я не удержался от восхищения смелостью казачки и даже, как будто меня кто-то дернул за язык, обмолвился о внешности и статности девушки.

— Понравилась? — спросил холодно Хоржик.

Пришлось сознаться — да.

— Значит, влюбился? Околдовала баба из бандитской берлоги. Считай, дело пропало. Завлекла она тебя своими чарами, а ты распустил слюни, растаял... Наверное, дюже горяча...

Я попытался как-то оправдаться, сказал, что признался во всем по-честному, и заступился за Пашу.

— Не торопись, — предупредил меня Хоржик. — Вот если она поможет поймать Ковалева, тогда и посмотрим, кто ей люб — ты или он. Придется ее заарестовать. Где она?

— Ушла,—сразу соврал я, поняв, что ей не сдобровать.

— Придет?

Определенного ответа я не дал, как и не сказал, что она принесла приказ Ковалева убить его. У меня не поворачивался язык произнести эти слова.

Хоржик отпустил меня с условием, что я немедленно ему сообщу, если опять наведается связник от Ковалева. Ни жив ни мертв я бежал домой. Паша ждала меня, волновалась, уже собралась уходить.

Я долго раздумывал, как выкрутиться из этой истории. Можно было, конечно, написать полковнику записку, что приказ получил, но для его исполнения нужно подготовиться, потянуть время, чтобы поразмыслить. Но с другой стороны — Хоржик предлагал выманить из леса Ковалева, устроить засаду и поймать его. Я хотел помочь Хоржику, но рассудил так, что если Паша пойдет с моей запиской, то полковник, догадываясь о наших с ней отношениях, оставит ее в заложниках, а от меня будет требовать, чтобы я убил Хоржика, угрожая мне моей же запиской.

Если ничего не отвечать Ковалеву, то мне и Паше грозила смертельная опасность. Сочинил я Ковалеву довольно витиеватый ответ, что, мол, приказ его мне понятен, но для этого потребуется подходящий момент, и просил не торопиться с исполнением.

Я решил поступить по-рыцарски — Пашу одну в лес не отпускать, а пойти вместе для подстраховки, хотя оружия у меня не было. Я рассчитывал на ее наган.

Мы еще не дошли до тайника у большого валуна на горной тропе, как нас окликнули. Паша ответила паролем. Двое бородачей, скрывавшихся за деревьями, подошли к нам с обрезами наизготове.

— Кто таков? — спросили меня под дулом обреза.

Я представился. Мой приход был для них неожиданным. Взяли записку. Долго читали.

— Мудрено, — сказал один из них. — Она пойдет с нами, — кивнув на Пашу, — а ты вертайся. Полковник велел передать: за неисполнение его приказа — в расход.

Паша посмотрела на меня. Ее взгляд предупредил не торопиться, предлагал какое-то решение. Рука у нее была в кармане. Но как ей дать сигнал, что я ее понял, что надо выбрать момент и действовать? Задержать их и разоружить мы не могли. У меня даже палки не было в руках.

— Я завтра вернусь, — сказала спокойно Паша. — Еще не все сделала в станице. Передайте полковнику.

— Приказ полковника — возвращаться с нами.

Один из бородачей, стоявший рядом с Пашей, повесил обрез на плечо, расстегнул пуговицы на пиджаке и старательно искал карман для записки. Другой, с опущенным обрезом в руках, стоял около меня, держа палец на спусковом крючке. Я чувствовал, что Паша на что-то уже решилась. Предложил своей страже свернуть по цигарке махорки на дорожку.

— Прячь понадежней, смотри, не утеряй расписку есаула, — услышал я голос Паши.

— Не извольте беспокоиться, — ответил ей казак, все еще роясь в своем пиджаке с дырявыми карманами.

В это время раздался глухой хлопок. Паша уложила наповал стоявшего рядом со мною, занятого свертыванием цигарки. Все это произошло в одно мгновение. Я нагнулся за обрезом, Паша шагнула ко мне, но время было упущено. Ее охранник оказался уже за деревом и убегал. Видимо, он подумал, что я застрелил его напарника, а не Паша. Я выстрелил раз-другой по нему из обреза, пока он мелькал между деревьями. Моя записка с согласием прикончить Хоржика ушла к Ковалеву, но после всего случившегося полковник не мог поверить ни мне, ни Паше. Надо было решать, что делать дальше. Попади эта записка Хоржику, нам тоже не сносить головы. Вот в какую ситуацию мы тогда попали с Пашей.

Иван Алексеевич отпил глоток вина и продолжил свой рассказ.

— По дороге в станицу мы с ней договорились немедленно уходить, куда глаза глядят. Паша была согласна на все. То, что произошло в лесу, сблизило нас навсегда. Больше мы уже не разлучались.

До нас доходили слухи, что Ковалева поймали и судили, но это уже было без нас. Сначала нам удалось перебраться в Польшу, разыскать там отца Паши, остановиться ненадолго у него, а потом уехать в Чехословакию, присоединиться к нашим эмигрантам.

Паша любила называть себя беглянкой, говорила, что хотела быть сильной, хотела мстить за своего убитого красными брата-офицера, упрекала себя, что в жизни она ничего не добилась, ничего никому не доказала, гонялась за призраками мести, устала. Как-то призналась, что единственное, что у нее осталось, — быть моей помощницей, заботливой женой. И она преданно несла этот выпавший на ее долю крест до конца.

Иван Алексеевич сидел, растроганный воспоминаниями о дорогом ему человеке.

— Паша вбила себе в голову идею самопожертвования, но ради чего? Здесь у нее не сходились концы с концами. С чистой совестью уверяла она меня, что не заблуждалась, а боролась. Но это была ее внутренняя борьба, самоистязание, если хотите. Никто этой борьбы не чувствовал, кроме меня.

Я не соглашался с Пашей, спорил, доказывал, поддерживал ее как мог, но она угасала на моих глазах.

Один я теперь. Один во всем мире. Давайте выпьем, полковник, за то, чтобы никому не пришлось испытывать одиночества, такой горькой разлуки с любимым человеком.

Мы выпили, помолчали перед уходом из ресторана. Прошлись по лесу до шоссе, остановили такси и вернулись в Прагу. Больше Ивана Алексеевича я не видел.

Презентация, или Встреча друзей

14 июня в Краснодаре редакция журнала "Кубань", не расставаясь с жизненным оптимизмом, провела именины своего любимого детища, в обиходе названное модным неологизмом "презентация".

В непростое время отмечаем мы свои торжества. Кощунственно разрушается держава, превращаясь сама в "географическое пространство" и превращая свой народ — в "народонаселение". Но мы отмечаем наши праздники, ибо душа народа еще жива, и мы помним скрепы народной жизни, освещающие нашу историю... — так обратился в своей поздравительной телеграмме к журналу "Кубань" Председатель координационного совета патриотических сил России Э. Володин.

Также на вечере прозвучали теплые слова поздравительных телеграмм и от главного редактора газеты "Советская Россия" В. Чикина, народного артиста СССР, члена редколлегии журнала С. Бондарчука, Атамана Союза кубанских казаков за рубежом Е. Баева.

И вообще на вечере царила подзабытая нами атмосфера праздника. За стенами краевой филармонии, где проходили именины "Кубани", еще гремели отголоски недавно прошедших выборов первого российского президента, а в зале, тепло встреченные присутствующими, выступали главный редактор журнала В. Канашкин; член редколлегии "Кубани", лауреат Государственной премии РСФСР писатель А. Знаменский; народный депутат СССР, сопредседатель депутатской группы "Союз" Н. Петрушенко; народный депутат РСФСР, член Верховного Совета, координатор депутатской группы "Россия" Н. Павлов и многие другие.

Редакция журнала "Кубань" высказывает сердечную благодарность всем своим друзьям-сопереживателям, пришедшим на вечер, а особенно — краевому Совету народных депутатов, без которого праздник журнала просто бы не состоялся, а также презентаторам-спонсорам "Кубани": ТУРКОМПЛЕКСУ "ДАГОМЫС", КРАСНОДАРСКОЙ ОПЫТНО-ПОКАЗАТЕЛЬНОЙ ПТИЦЕФАБРИКЕ, КРАЕВОМУ СПОРТКОМИТЕТУ, ПО "КРАСНОДАРМАСЛОЖИРАГРОПРОМ", КУБАНСКОЙ КАЗАЧЬЕЙ РАДЕ.

Гавриил Солодухин

ЖИЗНЬ И СУДЬБА ОДНОГО КАЗАКА*

Мы все стремились переехать в Сербию или во Францию. В Сербию не удавалось. Тогда батько начал хлопотать перед Донским атаманом генералом Богаевским о переброске станицы во Францию. Богаевский жил в Париже.

Переписка велась долго. Наконец пришло разрешение от французского правительства. Дано 50 безымянных виз на усмотрение атамана Кубанско-Финляндской станицы полковника Елисеева. Началась спешная переписка со всеми, кто хочет ехать. За исключением немногих все хотели ехать. Но были и тяжкие ответы, например: хотел бы ехать, но женился на финке, и жена не хочет покидать своей родины.

ВО ФРАНЦИИ

24 октября 1924 года Кубанско-Финляндская казачья станица, выехав из Гельсингфорса, пересекла Финский залив и высадилась в Германии. Проехав по железной дороге Германию и Бельгию, станица достигла Франции и была направлена французскими властями в город Туль, на распределительный пункт всех рабочих.

Через несколько дней, подписав трехмесячный контракт, станица была отправлена на самый юго-запад Франции, в район города Люнонь, у самой подошвы Пиренейских гор. Работа же была на химическом карбидо-синомитном заводе, в местечке Мариньяк.

В конце апреля 1925 года полковник Елисеев получил из Парижа телеграмму от генерала Шкуро, который просил его немедленно же прибыть в Париж. Дня через три батько вернулся, позвал к себе на совет меня как помощника атамана и хорунжего А. Д. Белова и объяснил нам, что Шкуро организует большую группу казаков-джигитов. На это дает деньги Саказан, родом сириец. Желающим участвовать даны деньги на дорогу до Парижа.

Часа через два после нашего приезда на стадион "Буффало" прибыл туда и генерал Шкуро с "шестеркой".

25 мая 1925 года в два часа дня казаки — мировые наездники-джигиты открыли "первое представление — джигитовку" в столице Франции, в Париже, на стадионе "Буффало".

Стадион был переполнен публикой. Он вмещал 20 тысяч зрителей. Первым нашим представлением был "Парад". Открыл его хор трубачей в синих черкесках. За ними — хор песенников в красных черкесках. За песенниками — танцоры. Последними ехали верхом 80 джигитов — все в белых черкесках и в белых косматых папахах. В таких же папахах были и песенники. У хора трубачей были также белые папахи, но небольшие и мелкого курпея. А впереди всего парада, верхом на лошади, ехал генерал Шкуро в черной черкеске и в "волчьей папахе". Джигитов же вел есаул Панасенко, за которым следовала вся "шестерка", то есть остальные пятеро главных организаторов. Хор трубачей играл марш. И как только он оканчивал играть — песенники пели старые песни "в ногу".

Все представление имело исключительный успех. А утром того же дня, то есть до первого представления, часов в 11—12 дня, в открытых автобусах, по 30 человек в каждом, сидели казаки рядами, представляя собою русский национальный флаг: 6 пар в белых черкесках, 6 пар в синих и 6 пар в красных. И таких автобусов для рекламы было 8—10, ходили они по самому центру Парижа.

В то время Париж был, что называется, "в казачьих руках". По всему Парижу только и говорили про казаков:

Лихих сынов казачьих,
От прославленных отцов,
В джигитовке, в песнях, в танцах
Всегда видно молодцов!

Как орел могучий,
Высоко летает,
То Шкуро наш с казаками
В Париже гуляет.

* Окончание. Начало в № 2–4.

Проджигитовали мы на стадионе "Буффало" ровно месяц, и всю группу перевели в самый центр Парижа, на Марсово поле.

К праздникам Рождества Христова этого же года наша труппа в 17 казаков прибыла на работу в знаменитый французский зимний курорт, в город Ниццу, на берегу Средиземного моря. Город красивый, чистый, весь в цветах. Погода стояла хорошая, теплая, но для нас Ницца оказалась неудачной: мы там ничего не заработали. Ехать дальше было некуда. Не было и средств. 2 января "шестерка" продала лошадей, и все разъехались. Танцор группы Миша Жуков, казак станицы Суворовской, и я остались в Ницце и поступили танцорами в богатое ночное кабаре.

Это было началом моей артистической карьеры. И началом моих встреч с людьми другого для меня мира. Там я встретил артистов-профессионалов и роскошно одетых посетителей и посетительниц. Здесь пришлось впервые танцевать вблизи от сидевшей за столиками публики, которая следила за каждым моим движением.

Сколько я тогда перенес там стыда! Бывало, станцую лезгинку с кинжалами, а меня зовут к столику. Жмут мне руку... Благодарят за танец... А сами суют в руку 10—20 франков... мне так совестно брать их, эти деньги. У меня в то время глаза от стыда вылазили. И дают еще стакан шампанского: "Пей!" А я тогда почти ничего не пил, и мне не хотелось пить. Но надо "пить". Ведь это для нашего хозяина лишний заработок. А самое худшее, что я не любил, когда меня просили сесть к ним за столик и с ними есть. Боже мой! Я боялся этой "еды" потому, что эти богачи ели всякие деликатесы, как, например, живых устриц, жареных лягушек, черепах, сыры вонючие и прочее. А я как взгляну на их стол, хотя и богато убранный, но не могу ничего ни есть, ни пить...

Михаил же Жуков, как говорится, был уже "тертый калач" в этом отношении, стал меня учить, да еще ругается: "Эх ты, станица! Ты должен к этому привыкать и все есть! Ты теперь артист. Ты будешь всегда встречаться вот с такими людьми, с аристократией, а эта пища, которой ты брезгуешь, считается лучшим деликатесом. Понятно?" А я ему отвечаю: "Да я тебя понимаю, но что же, по-твоему, мне нужно лягушек да черепах есть? Нет, уж лучше умереть, чем их есть..."

В начале марта 1926 года я получил письмо из Парижа от князя Арчила Андронникова. Он предложил ехать с ним джигитовать в Америку в цирк "Миллер-Бродзерс". Предложили мне недельное жалование не больше того, что я уже зарабатывал, но мне захотелось поехать в Америку, и я прибыл в Париж.

В то время в Париже формировались две группы джигитов. Одну из них формировали Кубанского Войска генерал В. Д. Савицкий и князь Андронников, а вторую — сотник С. И. Проценко и инженер Мелихов. Эту вторую группу финансировала американская компания "Муви капитал корпорейшен".

Проценко и Мелихов предложили мне большее жалование в три раза, чем князь Андронников, и я поехал с Проценко.

Первая группа казаков генерала Савицкого в составе 18 джигитов, одного танцора и 25 музыкантов духового оркестра выехала из Парижа в конце марта 1926 года, а вторая, в которой состоял и я, — 50 джигитов, 35 певцов, 5 танцоров, 30 музыкантов духового оркестра, одного доктора медицины, одного ветеринарного фельдшера, донского казака Власа Даниловича Маслова, двух чувяшников — полковника Моралина и подхорунжего Гамалия и одного портного, сотника Топчия, — эта группа прибыла в Нью-Йорк 12 мая 1926 года.

В АМЕРИКЕ

Итак, наша казачья артистическая группа в Нью-Йорке. Первое впечатление от города — неважное: он показался очень грязным. Но ночью, с его многоцветными электрическими рекламами, он показался мне самым красивым городом в мире.

Первое наше представление началось в середине июня в "Мэдисон Сквэр Гарден".

Наша финансовая компания купила для нас лошадей большей частью невыезженных. Дрессировать их и заниматься репетициями было негде. Наняли все же плохое место с малым манежем в какой-то "Рейдинг академи", то есть в "Школе езды". И мы открыли свое первое представление — с сырыми, не втянутыми в работу лошадьми.

Скажу откровенную правду: для такого города, как Нью-Йорк, избалованного лучшими мировыми артистами, наши представления в течение двух первых недель были слабыми, пока мы "не обломали" своих лошадей, да и сами себя не втянули в работу. Но наш успех зависел именно от первых 6-7 дней, когда зал был полон публики. Все места были заняты. И, конечно, на первые представления прибыли репортеры всех газет. Вот эти "тузы" в своих газетах и высказывают свое мнение и свой взгляд о любом представлении. Им, как опытным в своем деле людям, публика верит. И с первых же наших представлений эти репортеры стали нас "крыть" ужасно. Нас смешали с грязью...

После такой критики недели две пришлось выступать "для пустых стульев" — публики было 500—600 человек, не больше, а в помещении было более 12 тысяч мест. К тому же и дело было плохо поставлено нашими финансистами.

После 3-недельных представлений в Нью-



Г. Солодухин исполняет кавказскую лезгинку с кинжалами.

Йорке нашу труппу перевезли в город Кливленд, в штате Огайо. Там мы выступили в закрытом помещении. Но площадь для нашей работы была еще меньше, чем в Нью-Йорке (да, короче футов на двадцать). Но к этому времени наши лошади втянулись в работу, и теперь представления были хороши, как говорится, на все сто процентов. В каждом сеансе мы имели большой успех. Все места для зрителей были заняты. Выступали там семь дней. Реклама была рассчитана также на семь дней. Но затем нашу труппу уже без всякой рекламы оставляют в Кливленде еще на семь дней. Пошли слухи, что умер президент "Финанс капитал Муви корпорейшен", который лично субсидировал нашу труппу. И как только мы закончили выступать в эту вторую неделю, то получили приказ: расходиться, кто куда... компания нас дальше не везет.

Больше половины людей разбежалось. Убегали чаще музыканты, певцы и танцоры и всего несколько джигитов. Нас осталось не больше пятидесяти. Наши "старшие" Проценко и Мелихов достали для нас работу. Через четыре недели наша потрепанная группа была доставлена для джиговки на Всемирную выставку в городе Филадельфии, в штате Пенсильвания. На этой выставке наш успех был средним. Проработали здесь недели три, и группа выехала джигитовать на ярмарках. В Сент-Луисе мы имели колоссальный успех, несмотря на то, что каждую ночь лил дождь и нам пришлось джигитовать в грязи. Ввиду такого успеха по радио и в газетах было объявлено, что ярмарка продлится еще неделю. В то время сотник Проценко уехал в Голливуд просить, чтобы "Метро-Голдвин-Майер студия" перевезла нас туда. И только мы закончили свою работу в Сент-Луисе, как ночью получили телеграмму от Проценко: "Постановка картины "Казаки" откладывается на год. Казаков пока не берут. Поэтому расходись, кто куда хочет. Но присылайте мне свои адреса и, когда понадобится, я выпишу вас сюда, в Голливуд". И наши казаки начали расползаться, как муравьи, кто куда. Но мы, 11 неугомонных джигитов, не согласились так легко отказаться от своего артистического призвания. Мы решили самостоятельно ехать в Голливуд. Сообща купили три автомобиля и, хоть все мы ими никогда не управляли и никогда не сидели за рулем и не держали в руках ничего, кроме казачьей уздечки, двинулись в Голливуд, до которого от Сент-Луиса было свыше двух тысяч миль.

КАЗАКИ-ДЖИГИТЫ В ГОЛЛИВУДЕ

Голливуд принял нас, "знаменитых" наездников-казаков, сурово, неприветливо. После долгой дороги и многих автомобильных аварий мы прибыли туда с совершенно пустыми карманами. В то время сотник Проценко уже имел контакт с фильмовой студией "Метро-Голдвин-Майер". По его ходатайству нас вызвали туда через три дня. Мы прибыли в студию. Все были в черкесках. Нас посадили в две открытые машины марки "Кадиллак" и повезли по всему Голливуду и Лос-Анжелесу. Над нами летал аэроплан и сбрасывал летучки, в которых писалось: "Знаменитые мировые наездники-казаки будут участвовать в картинах студии "Метро-Голдвин-Майер".

На другой день мы прибыли в указанную студию, а нам говорят: "Очень сожалеем, но мы свой план переменили". Контракта мы не получили, но шумиху вокруг нас сделали большую.

Первая наша работа статистами в фильме по роману знаменитого русского писателя Л. Н. Толстого "Воскресение". Снимались мы в октябре 1926 года. В этой картине были заняты также такие звезды, как мексиканка Долорес Дельрио и Родже Рокс.

В декабре и январе того же года мы снимались во второй картине. Она называлась "Последний бой" (это бой генерала американской армии Кастерса с индейцами). Мы, казаки, работали в этом фильме "индейцами" — совершенно голые, только спереди интимное место было прикрыто маленьким куском кожи. И как в Калифорнии ни тепло, но работать в зимние месяцы голыми было холодно.

Нас красили коричневой краской, чтобы мы выглядели, как настоящие индейцы. В наши волосы втыкали перья. На лошадях мы скакали без седел. Уздечек не полагалось. Лошадей зануздывали веревкой. Мы имели луки и стрелы.

Сюжет картины был такой. Индейцы окружили американскую армию. Командующий армией, которого представлял полковник Тим Маккой, на коне скакал с небольшого уклона, чтобы пробиться к своим солдатам. Отобрали нас, четырех казаков, и сказали нам, чтобы мы с флангов по очереди набрасывались бы на героя. Он будет всех нас сбрасывать с лошадей.

Переводчик все это рассказал нам, но я его не понял. По плану действий я лично должен был наброситься на этого американского героя последним.

Съемка началась. Первым бросился на героя Никита Сахно. Герой сбил его с коня, и тот упал на землю. Вторым бросился Андрей Стадник, но герой сбил и его на землю. Третьим бросился Яшка Штыклецкий, но герой сбил и его и продолжает скакать карьером вниз. Подошла моя очередь и я думаю: "Ну-ну, дорогой мой, уж ты от меня не уйдешь! не вырвешься!" На всем карьере я подскакал к герою и со своего коня прыгнул на его коня, тут же схватил его за шею и моментально стянул с седла, бросив на землю. Тут на меня как заорет режиссер!.. Я думаю, в чем же дело. Тогда я совершенно не говорил по-английски, но по жестам режиссера и "звезды" вижу, что они меня ругают. Тогда наш переводчик им сказал: "Этот казак не говорит по-английски и не понял, чего от него хотят". Все засмеялись. Полковник же, Тим Маккай, аж воскликнул: "О-о, ка-зак!" и любезно, с улыбкой пожал мне руку.

В картине мы были заняты месяца два. Вот там-то мы впервые показали американцам казачью удаль и смелость. Там, где по ходу действия нужно упасть с лошади на землю на полном карьере и "представиться убитым", мы ударялись о землю, как живые мячи. За каждое падение мы получали по 35 долларов сверх обычной платы. Для того времени это были хорошие деньги. В Голливуде нам поражались. Говорили, что казаки не люди, а черти. Они, видимо, слеплены из теста, потому что как упадет с коня казак, так снова на него и вскочит как ни в чем не бывало.

С того времени нас узнали многие в студии.

В 1930 году поступил я в "Русско-американский артистический клуб". В нем было больше 20 артистов и хороший балалаечный оркестр из 9 музыкантов. К нам в клуб приходили студийные тузы, продюсеры, режиссеры и экранные звезды. Через студийных тузов нам, клубным артистам, перепало работать на съемках картин статистами. Жилось нам в то время, можно сказать, неплохо, несмотря на большую тогда безработицу в Америке.

Недели через три ко мне приехал донской казак Николай Александров и просит дать ему три кинжала. Хозяин его ресторана попросил, чтобы Александров танцевал лезгинку с кинжалами. У меня в то время было 16 кинжалов. Я дал ему три, а дня через 3—4 кто-то приехал к нам в клуб и говорит мне: "Казак!.. Ты поезжай и посмотри, как Александров танцует с огнями. Получается очень эффектно".

Я приехал в тот ресторан, где танцевал Александров лезгинку по-донскому, с присядкой. Александров вышел танцевать, зажег свои кинжалы. Я смотрю, действительно, очень эффектно. Я его спросил, как это он выдумал? И как он делает, что на кинжалах появляются огни?

Он мне все показал и рассказал, кто его научил этому эффекту. Оказалось, братья Прохановы — музыканты балалаечного оркестра, которые играли в том же ресторане. Раньше братья Прохановы были в Германии и работали на съемке картины "Белый дьявол". Звездой этой картины был русский артист Иван Мозжухин. В этой картине изображены ночные танцы с факелами. Братья Прохановы намотали на рукоятки кинжалов ваты, а чтобы эта вата не спадала, обмотали ее тонкой крепкой проволочкой. Потом рукоятки кинжалов с ватой макают в древесный спирт. При танце гасится свет, и в это время зажигают кинжалы и танцуют с ними.

В первую же субботу я в своем клубе приготовил большой сюрприз всем артистам: вышел танцевать лезгинку, и во время танца все десять кинжалов, которые я держал во рту, вдруг занялись огненным пламенем. Этим я произвел на всех большое впечатление. С этого дня я стал танцевать лезгинку только с горящими факелами. И благодаря "Русско-американскому артистическому клубу", где я танцевал все время, меня стали приглашать сниматься в кинокартинах.

В 1931 году многие артисты нашего клуба получили контракт от компании "Франчин и Маркс". Эта компания составила из русских артистов труппу в 33 человека. Труппу назвали "Рашен арт айдия". Порядок наших номеров был таков. Открывалась сцена, и пел смешанный хор из 15 певцов и певиц. Потом играл хороший балалаечный оркестр Мини, куда входило 9 музыкантов. После трех сыгранных оркестром вещей я выступал соло, танцевал лезгинку с горящими кинжалами. Мне аккомпанировали два оркестра сразу: балалаечный и театральный. Одет я был по вкусу и выбору компании: черкеска красного тонкого легкого шелкового бархата, которая на фоне театрального освещения отливала красивыми оттенками. На мне — черная каракулевая папаха, белый шелковый бешмет и белые-белые, из тонкого шевро выше колен ноговицы, светло-голубого цвета бриджи. Я танцую лезгинку больше на пальцах и совершенно свободно, как по-казачье-

му говорится, "на когтях". Оно и есть именно так, на когтях. Балерины танцуют в специальных твердых туфлях, и они становятся ровно на пальцы. А кавказская лезгинка танцуется в мягких ноговицах (сапогах). Мои пальцы подгибаются вниз, и я становлюсь именно на ногти.

Я имел десять кинжалов, которые были заткнуты под пояс. Когда подходило время сделать с кинжалами во рту несколько "па" для эффекта, я засовывал два кинжала между шеей и воротником бешмета, не глубоко, но так, чтобы они не выскочили. Два кинжала беру в рот в разные стороны. Два кинжала вставляю в рот рукоятками вверх. Два кинжала держу во рту впереди и в каждой руке тоже держу по кинжалу. В этот момент весь свет в театре гасится, и в темноте я беру зажигалку, которая висела у меня на боку, как маленький револьвер. Нажимаю спусковой механизм, отчего раздается небольшой выстрел и сразу же вспыхивает огонь. Этот огонь я подносил к рукояткам своих кинжалов, которые были смочены спиртом. Кинжалы мои моментально вспыхивали пламенем. Я становился на свои когти и "шел" задним ходом по всей сцене. В это время давали большой круглый спад света только на мои ноги. Светом показывали публике, как я хожу и прыгаю на своих "когтях". А после я бросал изо рта горящие кинжалы в специально выставленную на сцену доску, к которой была привязана тонкая веревочка. Когда побросаю все свои кинжалы в эту доску, сразу зажигается везде свет, и я раскланиваюсь перед публикой, ухожу со сцены, а со мной вместе, рядом, тянулась на веревочке доска с горящими кинжалами. Все кинжалы были воткнуты в доску и стояли огнями кверху. Успех везде я имел бесподобный.

ВСТРЕЧА С БУДУЩЕЙ ЖЕНОЙ

Ровно через месяц после того, как мы закончили турне в апреле 32-го года, меня опять вызывает в контору та же компания "Франчин и Маркс", где я только что оттанцевал 34 недели. В конторе мне говорят: "Казак, мы хотим, чтобы ты опять поехал танцевать по тем же самым местам... Но теперь мы хотим, чтобы танцевал ты вдвоем с партнершей". И они объяснили мне, как они хотят поставить на сцене мой номер и большой кордебалет. Там же, в конторе, пообещали "достать" мне хорошую партнершу-балерину.

В среду в десять часов утра я прихожу в зал, где проходила репетиция.

Вскоре пришел Мишка и говорит: "Здорово, казак, ну, я тебе уже подобрал партнершу". И Мишка зовет: "Людмилочка!.. Идите сюда!"

Она была в то время совершенно босая. Штанишки на ней были короткие и только покрывали ее мягкое тельце. И были покрыты ее маленькие, выпуклые груди. Густой длинный пушистый волос ее как-то до того смешно был закручен наверху!.. Она мне показалась совершенным ребенком, лет 14, не больше.

Мишка нас знакомит и говорит: "Это тебе, казак, партнерша. А это тебе, Людмилочка, наш хороший казак!" И Мишка продолжает: "Слушай, казак! Ты сегодня танцуешь в Русском клубе?"

"Да, танцую!"

"Программа начинается в девять часов?" — спрашивает он.

"Да, в девять", — отвечаю ему.

"Людмилочка, ты сегодня прийди в клуб часам к восьми. А ты, казак, там ее встретишь. Людмилочка, посмотришь его номер, будешь знать, что от тебя требуется. Я же сегодня очень занят и приду а клуб позже. Пока!"

Мишка ушел, и мы остались вдвоем. Я не стал с ней разговаривать. Я обвел ее глазами с ног до головы и говорю ей: "Я сегодня занят, пойду. Встречу вас в клубе".

И ушел. В этот раз я поступил с ней очень грубо.

Прихожу домой злой, как никогда, и про себя думаю: "Мишка! Я тебе сегодня отпою. Я гордый казак, и ты мной командовать не будешь! Навязал мне свою какую-то знакомую, чтобы я с ней танцевал. Да ведь она еще ребенок. А мне надо такую, чтоб, если подойдет, понравится, то и жениться на ней".

В шесть часов вечера я пошел обедать в Русский клуб. Пришел туда и Мишка. Он подсаживается ко мне за столик и спрашивает: "Как, казак, нравится тебе партнерша?"

А я зло отвечаю: "Ну и партнершу ты дал, все равно, что ребенка подбросил".

"Как, ребенка?.. Ей уже тридцать лет... Я ее с 19-го года знаю. Она очень хорошая балерина. Дочь героя русско-японской войны генерала Мищенко. Так что ты, казак, не капризничай! А если вздумаешь завоевать ее, то и жена для тебя будет такая, что лучше и не найдешь. Она скромная, умная и не ветреная."

То, что она дочь генерала, мне льстило. Но в то же самое время у меня промелькнула мысль: "Ого, птица высокого полета. Такую, пожалуй, подстрелить будет трудно."

К восьми часам вечера я вышел из клуба, чтобы встретить ее. Ровно в восемь идет моя партнерша. Ботинки у нее на высоких каблуках, и теперь она выглядела не такой уж маленькой. Подошла ко мне, здоровается. Она мне показалась тогда неописуемой красоты. Она была хорошо одета, тонно и скромно. Ножки у нее ровные, словно выточенные. Ее фигурка — как слепленная статуэтка. Глазки большие, красивые, блестящие. Волос длинный, густой, темный, красивый и завит вокруг ее маленькой головки.

Придя в себя, я как мог, вежливо поклонился



Пирамида. У казаков на плечах казачка Л. Солодухина, урожденная Мищенко.

ей, взял ее под ручку, привел в клуб и посадил за столик, который мною был приготовлен заранее. И с этого момента я прилип к ней, "как репей к овечке".

В "Цыганском таборе" я станцевал казачка. Лезгинка же была моим последним номером всей программы.

Оркестр заиграл "Молитву Шамиля". Публика, которая видела меня в этом клубе сотни раз, ободряла криками. Сцена была не маленькая, но на этот раз я хотел бы, чтобы она была в десять раз больше. Я хотел летать по сцене, но на ней для меня не хватало воздуха. Как я танцевал — судить о себе не могу. Кто меня видел в те годы, пусть тот скажет. Как только я станцевал и вышел раскланиваться перед публикой, сразу же подходит к сцене наш клубный официант и говорит: "Казак, мне режиссер Ван Стеренберг дал двадцать долларов, чтобы ты "наколол" их кинжалом". Он свернул эту двадцатидолларовую бумажку вдвое и положил на полу на сцене. Я бросил первый свой кинжал, и сразу же вогнал острие кинжала в эту двадцатидолларовую бумажку, прямо в ее середину. И еще громче стали аплодисменты. И мне кричали: "Браво, браво, казак!"

Я пошел к Людмилочке с полной радостью и успехом. Сел близко к ней. Она была очень скромная, говорила тихим голосом, медленно, но отчетливо и красиво. Она сразу же делает мне комплимент: "Как вы хорошо танцевали! Я первый раз в своей жизни вижу такой прекрасный танец. Мне так хотелось бы с вами танцевать! Я буду стараться выучить этот танец. А кинжалами своими — вы меня не зарежете?"

Я ей ответил: "Ежели вы будете нечестной для меня партнершей, то зарежу!". Она так и залилась смехом.

"Но если я буду честная?" — говорит она.

"Тогда я оставлю вас незарезанной."

Она опять залилась: "Ха-ха-ха!" Во время смеха Людмилочка склонила вниз немного свою головку, а я в тот момент — раз! и поцеловал ее в висок. Она сразу же приняла серьезный вид и говорит: "Ого! А мне сказали, что вы очень застенчивы с барышнями, а меня кинулись целовать. Вы не застенчивый, а гордый!"

Я попросил извинения, сказав: "Людмилочка, извините меня! Это у меня вышло неожиданно!"

А она мне отвечает: "На этот раз я вас прощаю. Я понимаю вас сегодня: после такого успеха вы готовы всех расцеловать в клубе."

"В одном вы, Людмилочка, правы, но в другом — нет. Я слишком гордый казак, чтобы без выбора целовать бы кого попало. Я позволил себе только вас поцеловать."

Она серьезно посмотрела на меня и говорит: "Да? Я с первой же нашей встречи заметила вашу гордость казачью."

"Дорогая Людмилочка, у казака есть все достоинства, чтоб быть гордым."

Она улыбнулась и говорит: "Не будьте так уверены в себе. Найдется такая, которая вашу казачью гордость сломит."

"Да, Людмилочка, если вы на это способны, быть может, перед вами сдамся."

В это время официант принес нам чашечки, я налил в них "скач-виски", взял свою, наполненную этим напитком, и говорю: "Ну, Людмилочка, давайте выпьем за нашу первую встречу, и чтоб она была не последней."

Она взяла свою чашечку, подняла ее кверху и говорит с улыбкой, медленно, отчетливо, сладко и красиво: "Я пью за вашу хорошую гордость! Желаю вам оставаться таким всегда!" И при этом так кокетливо моргнула мне своей красивой черной бровкой и сразу "хлопнула" все до дна.

В этот момент меня, как электрическим током, ударило. И этот вечер у меня прошел так весело и радостно и с полной надеждой на будущее!..

...Через несколько дней я сказал Лапи, как стал называть Людмилу, что надо сделать пирамиду на лошадях. Она, бедненькая, перепугалась и говорит: "Как же я смогу это сделать? Ведь я в своей жизни и возле лошадей не была."

Я стал ее утешать: "Не беспокойтесь и верьте мне! Вы это сможете сделать." Она согласилась.

Поседлали лошадей. С сотником И. Д. Конорезовым наездники мы были лихие. Я объяснил Лапи, как надо стоять на наших плечах и как держаться за шест. Лапи стала нам на плечи. Мы поехали шагом. Я спрашиваю ее: "Ну как, Лапи, не боитесь? Голова не кружится?" Она отвечает, что нет, все хорошо.

Отъехав футов на шестьсот, я стал объяснять ей: "Теперь отсюда мы пустим лошадей карьером. Вы держитесь, стойте и не падайте. Когда мы начнем трогаться, я крикну: "Ги!" В это время вы подайтесь всем своим корпусом вперед, чтобы не упасть назад. А когда мы будем скакать, вы держитесь одной рукой за шест, а другую ручку поднимите кверху и этим покажите, что вы лихая казачка и вам все нипочем. А когда мы будем добегать до места, где нужно останавливаться, я крикну: "Го!" В этот момент вы берите шест в обе руки, и свой корпус немного склоните назад, для того, чтобы не упасть вперед. Все вам понятно?"

"Я все поняла. Пускайте", — отвечает она. Мы с места крикнули: "Ги!", кони рванулись карьером, и когда мы доскакали до указанного места, я вскрикнул: "Го!" Мы остановились, и в этот момент услышали ее радостный, словно детский голос. Она закричала по-английски: "Хупи!"

Я ее спрашиваю: "Ну как, Лапи, не боитесь?"

"Нет, я еще хотела бы пробежать. Мне так легко и хорошо стоять!"

"Ну, хорошо, пробежим еще", — отвечаю я. В этот вечер мы проскакали с ней четыре раза.

За нами наблюдали три ковбоя. Они, что называется, были поражены! И говорили нам, как она легко, смело и красиво стоит!

Ну, думаем, зачем же завтра приезжать? Она стоит на пирамиде хорошо, а нам, старым опытным джигитам, репетировать не нужно.

За ночь, пятницу и субботний день мы с Лапи сшили ей бешмет и бриджи. А в воскресенье наша втроем джигитовка у ковбоев прошла с большим успехом. Моя маленькая Лапи была так рада! Ей очень хотелось научиться ездить на лошади и выучиться джигитовать. Она стала надоедать мне своими вопросами. На следующей неделе, в среду, мы начали выступать с ней в театре.

Мы давали четыре номера: сначала вдвоем — "Адажио", потом она танцевала свое "соло" — классический танец на пуантах, затем я выступил также "соло" — в лезгинке. Свое выступление мы заканчивали вдвоем, танцуя "казачок". Это выступление занимало девять минут. Успех был хороший.

В последний день нашего выступления в театре "Миллион долларов" нас, казаков-джигитов, вызвали в контору. Там нам предложили джигитовать в "Колизеуме" четвертого июля, в День независимости. Предложили каждому по пятьдесят долларов за выступление. Мы очень обрадовались и сразу же подписали контракт. Я устроил и Лапи. В той же конторе я лично получил контракт на одно выступление в лезгинке в "Голливуд боул", где устраивался концерт в честь Всемирной олимпиады, которая проходила в 1932 году в Лос-Анжелесе.

После нашего первого выступления в театре "Миллион долларов" меня позвали в контору и выдали недельное жалование. Я зашел к милой Лапи в комнату, дал ей половину своих денег и говорю: "Спасибо, маленькая Лапи, за то, что у нас все так хорошо и успешно вышло". Произнеся это, я обнял ее за маленькие плечики и хотел поцеловать. Она меня слегка оттолкнула и говорит:

"Дорогой Гаврила, вы не подумайте, что если я ваша партнерша, так вы можете позволять себе все. Этого я не желаю и не хочу, чтобы вы кидались меня целовать! Понятно?!."

Я извинился перед ней.

После возвращения в Голливуд мы зарегистрировались гражданским браком.

Публикация подготовлена
Виктором ЛИХОНОСОВЫМ.

Михаил Меньшиков

Шейлок и Джессика

ИЗ "ПИСЕМ К БЛИЖНИМ"

Финляндское "брожение умов", погром евреев в Гомеле, армянские беспорядки на Кавказе... Эта неделя напомнила нам, что, кроме внешнего кольца врагов, русская народность имеет еще внутреннее кольцо, состоящее из сырых, не замиренных племен, нам враждебных. Как чувствуется теперь, что широкие завоевания Екатерины и Александра были сделаны лишь "начерно" и до сих пор остались в черновиках. Мы забыли уже самые имена завоевателей, а оказывается, что те войны еще совсем не окончены. Положенные под сукно огромные дела выпячиваются, требуют нового пересмотра, нового и уже окончательного внимания. Беспечно отложенные на столетия инородческие вопросы принимают вид хронических язв. Не дальше, как сейчас, рядом с нами две великие империи агонизируют, раздираемые инородческими смутами. А сто лет назад разрешенная от инородческого вопроса погибла соседняя, когда-то великая держава. Оставленный нам ею в наследство социальный рак — еврейство, конечно, самый опасный из окраинных вопросов. Шведо-финнов у нас вчетверо меньше, чем евреев, армян — в десять раз меньше, и те и другие расположены в глухих углах. Восьмимиллионное же полчище евреев занимает самую уязвимую из наших границ и, несмотря на черту оседлости, движется ничем не отвратимым нашествием. Гомельский погром выдвинул новую черту этого нашествия: крайнее раздражение еврейских масс, их вызывающий тон, их наклонность с оружием в руках отстаивать свои позиции. Это продукт, с одной стороны, сознания евреями своей многочисленности, с другой — последствие страстной проповеди сионизма. Сионизм — движение романтическое и, мне кажется, весьма тревожное. За внешнею целью — созданием еврейского царства в Палестине — кроется вообще подъем национального чувства евреев, то есть еще большая отчужденность от христиан, еще бо́льшая к ним враждебность. Добудут ли евреи Палестину — крайне сомнительно, но что массы еврейства будут разрушены в их национализме, что они будут политически раздражены, награвлены на борьбу, — это неизбежно.

Есть евреи смирные и есть озлобленные до трагизма. В Петербурге теперь с большой роскошью поставлен "Венецианский купец" Шекспира. Вот комедия еврейской вражды, самой дьявольской, непримиримой. Правда, волею автора, комедия полна смеха и торжества жизни над глупостью злобы, но каких страданий, каких тяжких усилий иногда стоит это торжество!

Мы сидели среди волшебной ночи перед единственною в мире набережной Венеции, перед дворцом дожей и сверкающей феерической лагуной. Толпа каменных палаццо, узеньких площадок, высоких мостиков, перекинутых через канал, гондолы, пестрая улица и поющая атмосфера венецианской ночи, как бы насыщенная мелодией дальних песен и мандолин, — все это передано чудесно. Сказать кстати, как не грех говорить, будто Шекспир устарел и "Венецианский купец" не интересен! По-моему, это превосходная комедия. В пяти строчках ее больше ума и жизни, чем в пяти актах многих современных "идейных" драм. Ума и жизни тут так много, что, как крепкое вино, пьеса Шекспира уже, может быть, не под силу слабым нервам теперешней публики. Избыток ума и жизни рвется из легкой фабулы, окружает нехитрые нити ее великолепным кружевом мысли. Уследить за последней нелегко, — но какое наслаждение, если вы успеваете следить за нею! Шекспир подобно Пушкину и в противоположность множеству современных драматургов, — оба удивительно умны. Их чувство, несравненное по свежести, дышит такой разумностью, такой ясностью понимания, что сразу ощущаешь себя точно в умственном кислороде. Говорят иногда: "Венецианский купец" — легкая комедия, это не столь глубокое, проникающее в дух человеческий творение, как "Гамлет", "Отелло", "Король Лир" и пр. Там страсти и немощи трагические, там делается оценка той таинственной сущности, которую мы зовем душой. Здесь же, в "Купце", забавный анекдот, насмешка над еврейством, не больше. Мстительный "жид" хотел на законном основании зарезать христианина, но запутался в петлях закона и шлепнулся. Порок наказан, добродетель торжествует. Я не согласен с этим легким взглядом. Очень возможно, что Шекспир, как простодуш-

ный гений, рассказал казусную историю как она есть, без задних целей, просто, чтобы позабавить публику, поволновать ее причудливою игрою рока. Но как все, что творит гений, и эта вещь оказалась выше своего замысла. Каждое поколение открывается в нем новым разумом: великий символ развертывается пророчествами и откровениями, которые могли оставаться невидимыми самому автору. Художнику принадлежит изображение, потомству — толкование жизненной правды. Иначе не было бы вещей бессмертных, провожающих человеческий род и каждой эпохе говорящих что-то особенное, для всех заветное.

Мне кажется, "Венецианский купец" дает великолепные символы для великой борьбы между древностью и новым временем, между иудаизмом и христианством в частности. Вдумаемся в комедию Шекспира. Перед нами Венеция XVI века, гордая царица морей. Под южным небом среди голубого моря точно повисли мраморные дворцы и храмы. Безмерное богатство, собранное со всего света. Безмерная роскошь, утонченность вкуса, изящество манер. Вольное купечество, державшее, как Англия, в одной руке весы, в другой — меч, постепенно переродилось в гордую аристократию, и вот здесь, на волшебных островах, у мощей евангелиста Марка, средневековое христианство расцвело самым пышным цветом. Беспечное веселье, разгул, музыка, песни. Все хочет быть молодым, влюбленным, умным, красивым. Такова новая, отошедшая от древности жизнь, как она отстоялась к эпохе Возрождения. Она еще жестока, но чем-то гуманным веет в этой веселой, по-детски шаловливой жизни. Чувствуется, еще немного, и этой молодежи — Басанио, Лоренцо, Грациано — захочется братства, справедливости, идей Руссо. Но вот среди этого счастливого, как бы охмелевшего от счастья христианства вырисовывается лицо старого еврея. Это сама древность, выглянувшая из-за складок современности. Шейлок один среди тысячи, но он заметен, он центр драмы. Он в христианском обществе играет роль страшную и важную. Что-то совсем противоположное и что-то неотделимо родственное с христианством. Он враг Христа, и это пропасть непереходимая. Но он богат, как все эти блестящие венецианцы, и потому он — сила. Он ростовщик, он торгует самым страшным товаром — деньгами, приобретает их дешево, продает дорого. Он подвергается бесконечным унижениям в погоне за золотом, он живет в смраде презрения к нему, он извивается на тысячу ладов, он не знает жалости и, как паук, душит опутанные им жертвы. У себя дома он верующий, трезвый, верный муж и нежный отец, его жизнь добродетельна дома и сплошное злодейство вне дома, среди христиан. Там он беспощаден, он кипит к ним неукротимой ненавистью. Наслаждение мести — вот его мечта. Таким изобразил великий наблюдатель еврея своей эпохи. Таким представляли себе еврея средние века (источник, легший в основу "Венецианского купца", относится к XVI веку).

ЖИВАЯ ДРЕВНОСТЬ

Шейлок — олицетворение всего еврейства, каким оно вот уже около двух тысяч лет стоит лицом к лицу с христианством, несомненно, враждебное, гонимое, но не побежденное. Но что такое еврейство, как не живой остаток древности, единственный представитель античного мира, единственный островок, уцелевший от огромной Атлантиды прошлого. Исчезли Эллада и Рим, Вавилон, Египет, а их современник — иудейство — все еще теплится как особый культ и отстаивает дух незапамятной старины. Борьба еврейства с христианством не вероисповедная вовсе, это борьба времен и цивилизаций, борьба остановившегося и ушедшего вперед. В то время, как все народы древности переродились, евреи, подобно китайцам, упорно стоят на своей древней формуле. Эти живые выходцы из язычества до сих пор чужды христианству и ведут с ним ту же борьбу, что 19 веков назад. В зоологии есть одинокие представители допотопных, уже вымерших пород. Они сохранились и ведут даже борьбу с новыми условиями природы, борьбу тягостную и напрасную...

Христианство, или, точнее, новая жизнь — несомненно, теснит евреев, теснит безотчетно, и столь же безотчетно евреи и древний мир в их лице дают отпор христианству. Когда с эпохою Возрождения ожил дух древности и возникло поклонение язычеству, ожило и еврейство: борьба его с христианским обществом сделалась решительнее. Шейлок — олицетворение этой борьбы, мстительной и корыстной. Шейлок-мститель. Шекспир как бы хочет сказать, что, вопреки ходячему взгляду, не корысть, движущая еврейством, сила, а месть. Шейлоку не жаль потерять три тысячи червонцев, даже вдвое и втрое, лишь бы насладиться гибелью Антонио. "Фунт мяса, синьоры! Фунт мяса, и по возможности ближе к сердцу!" — кричит он. Это месть не личная. В Шейлоке оскорблен не человек, а еврей. В Шейлоке горит гневом все его святое племя, древний Израиль, Богом избранный, человечеством униженный народ. Шейлок взял на себя месть народную, как Самсон, и вот ее формула: "Фунт мяса" — и никакой пощады!

Нажиться, во что бы то ни стало нажиться, — страстная мечта большинства евреев. Отдельный еврей иной раз не знает, зачем нужно нажиться, зачем сложилось в веках это наследственное влечение. Но еврейство как нация это знает. Безотчетно, смутно корысть подсказывается чувством борьбы и мести. "Мы ниже христиан, — мы будем

выше их. Мы отберем у них богатство. Их дети будут служить нашим детям." Библия — это боевой клич "народа Божия". Она две тысячи лет говорит им, устами пророков, о том, как они унижены и как будут некогда возвеличены. Со времен Навуходоносора для евреев так сложилась жизнь, что только корысть может быть оружием их борьбы с народами. Не мужество, не просвещение, не святость, а богатство дает им власть в мире. Если бы власть добывалась святостью, может быть, имя Ротшильдов носили бы святые. Но в конце концов даже целью святости был бы тот же крик: "Фунт мяса, синьоры!" — унижение соседних народов, гибель их.

"Фунт мяса" у Шекспира довольно психологичен. Он символизирует практику еврейской борьбы. Заметьте: еврей требует только фунт мяса, какой-нибудь двухсотой доли всего тела. Так и обыкновенный ростовщик ставит должнику на вид хотя и болезненное, но выносимое условие — всего 50% на 100. Но это условие обыкновенно связано сроком и неустойками, удесятеряющими тяжесть уплаты. Получается рана "как можно ближе к сердцу". Как Шейлоку своими силами не удалось бы вырезать у Антонио и золотника мяса, как Шейлок делает орудием своего плана христианскую же власть, закон государственный, вексель и суд, так и каждый ростовщик, будь это Ротшильд или нищий Мошка в Бердичеве. Оба опираются на христианскую справедливость, на правосудие, на равенство перед законом. И представители закона, как вот этот дож Венеции с судьями, — хотя чувствуют себя явно одураченными, но не имеют выхода. Судья внутренне убежден, что вексель недобросовестный, что долг давно уплачен, что еврей заносит нож на христианина, и все же выдает еврею этот нож в виде дополнительного листа, за государственною христианской печатью. Не всегда является влюбленная Порция, которой любовь внушает мудрость и способность отвести этот нож. Бесчисленное множество Антонио на всем пространстве христианского мира зарезаны мстительным еврейством, бесшумно, без всякой драмы, и зарезаны ножом именно христианского правосудия. Последнему недостает гениального прозрения, осенившего влюбленную девушку: "Бери фунт мяса, но ни капли крови." Если бы христианское правосудие шло дальше буквы и в глубь каждого спора, оно сумело бы вернуть еврейству то, что принадлежит ему, не вырывая сердца, не истощая кровью, не внося гибельных расстройств в жизнь своих христианских подданных. Шейлоку предлагали деньги, он настаивал на фунте мяса. Христианство всегда предлагало пользоваться еврейству всем, что еврейство добудет действительно честным путем. Но еврейство этим не удовлетворено. Оно добирается до чужого имущества, до самого неотъемлемого, самого необходимого, которое похоже на фунт мяса "по возможности ближе к сердцу".

ПЛОХАЯ АФЕРА

Умен ли Шейлок? "Шейлок бесспорно умен, — говорит автор предисловия к переводу (П. И. Вейнберга) "Венецианского купца". — Он способен глубоко чувствовать и возмущается против позорного презрения, на которое осужден. Он знает, что среди преследующих его христиан он не найдет себе защиты, и потому вынужден сам доказать все благоразумие завещанного в старые годы правила "зуб за зуб и око за око".

Я никак не могу согласиться с этим мнением, ни с "благоразумием" названного правила, ни с "бесспорным умом" Шейлока. Еврей хитер, он задумывает адскую месть. Но в то же время как он страшно глуп, той глупостью, которую наводит злоба. Индивидуально он может быть умен, но он глуп национально, общею еврейскою дурью, которая в нем, как в мстителе за еврейство, особенно повышенная. В самом деле, что тут умного: жить в прекрасной Венеции, в цивилизованной стране, среди изящного, беспечного народа и оставаться чуждым всему этому? Что умного: оставаться презренным жидом, копить в себе оскорбленное чувство и ненависть, ненависть без конца? Что умного: подвергать себя и свою дочь и все потомство операции мучительной, перевариванию в чужом желудке, не желая ни выйти из этого желудка, ни перевариться? У Шейлока не хватило ни мужества, ни разума, чтобы снять с себя облик, в моральном отношении, очевидно, невыгодный для него, явно гибельный. Но таков и весь еврейский народ. Национально он не умен. Взвесьте беспристрастно судьбу этого народа, что в ней умного? Потерять территорию, государственность, независимость, язык, культуру, растерять все решительно, кроме древней мечты о своем избранничестве, похожей на манию величия, и приобрести имя "жид", — как хотите, это плохая афера. Разбрестись по свету и всюду в течение двух тысяч лет так устроиться, чтобы быть предметом отвращения, подчас гонений самых свирепых, — что тут умного? Пусть тысячи евреев сделались миллионерами и сравнительно благоденствуют. Но миллионы евреев? Их нищета невероятна при всей их ловкости, хитрости, неутомимости, при страшной затрате энергии. Евреи не видят, что направление этой энергии выбрано неумное. Оно хищническое, и этим самым еврейский народ поставил себя во враждебные отношения ко всему свету. Потеряв землю, этот восточный народец своей землей выбрал тело европейских рас, преимущественно славянской. Я уже сравнивал еврейскую массу с чащей лиан, обвивших высокоствольные породы. Естественно, что организмы, еще желающие жить, употребляют все средства, чтобы отделить от себя паразитов. Стеснения евреев, "гонения" на них вполне естественны, они прямо неизбежны. Но что тут умного: в течение столетий ставить и себя, и оказавшие им гостеприимство народы в почти безвыходное положение?

Вы скажете, разве не трогательна эта верность евреев своей национальности? Может быть, и трогательна, — отвечу я, — но она в данном случае не умна. Умно и благородно оставаться верным чему-нибудь высшему, но то, что составляет еврейскую особенность, вовсе еще не есть высшее. Истинно живою национальностью следует считать отбор всего совершенного, жизнетворного, высокого. Национальность — это группа условий, наиболее благоприятных для расцвета нации. Пока иудаизм наиболее благоприятствовал счастью евреев, они были живою национальностью. Теперь же он давно уже составляет одно бедствие для своих носителей, все равно, что старая кожа, из которой змея не может выйти. Что тут разумного: задыхаться в искусственном обособлении, придерживаться вымершего, явно низшего склада идей, явно несовершенного миросозерцания?

Евреи жалуются на "черту оседлости". Но если бы они были умным народом, они давно бы сделали из пятнадцати губерний, им предоставленных, новый Ханаан, текущий млеком и медом. Черта оседлости так обширна, что в ней поместились бы Франция и Германия, взятые вместе. Но евреи только и умели, что высосать соки из бедного славянского мужика. Вложить свои соки, свою энергию, свой труд и разум — они на это оказались неспособными. Черта оседлости открыта к западу, то есть евреям открыт весь мир, но разве и на Западе евреи благоденствуют? Торжествуют отдельные хищники, масса же евреев страшно бедствует и в Лондоне, и в Нью-Йорке.

Есть страшная "черта оседлости", которая действительно губит еврейство и в которую они себя сами заперли: это иудаизм. Вот где они задыхаются как раса. Вот гибельное гетто, которое они должны разрушить. "Мы — евреи, мы избранный народ Божий. Остальные народы — гои, отданные нам в добычу". Вот безумный предрассудок, который держит потомство Иакова в плену. Евреи не замечают, что они давно, в самой сущности дела, перестали быть древними евреями, что, уж раз они потеряли территорию, царство, язык, культуру, это явное доказательство, что избранничество их кончилось. Есть раса еврейская, сильно смешанная с другими, но *нации* уже нет. Она развенчана, она потеряла не только права, но и реальные условия существования. Остался, вы скажете, закон Моисея. Для своего времени это был закон высокий. Но евреи не замечают, что это давно уже ветхий закон, что уже 19 столетий, как дан другой закон, более совершенный, более жизненный, более отвечающий счастью людей. Евреи думают наоборот, но это-то и не делает чести их уму. Более одаренные европейские народности одна за другой приняли закон Христа. Ведь и у греков, и у римлян, у галлов, германцев, славян были свои религии, не менее законченные, чем закон Моисея. В них было не менее поэзии и морали. Эти старые культы были очень дороги нашим предкам, покидать их была большая мука. Но что же делать? Почувствовав иную, хотя и чуждую, но более совершенную красоту духа, европейцы по-детски потянулись к ней: чуждое сочли более своим, чем родное. В самом деле, если свое родное кажется грубым, темным, жестоким, то почему же оно родное? Поскорее нужно отделаться от него и взять, как у неба лучи, искры откровения, хотя бы из бесконечной дали. Ревнимость, столь великодушная, доступна лишь народам свежим. Нужно много отваги, чтобы лучшее чужое предпочесть своему, для этого много нужно душевного величия. Переход к христианской, более совершенной религии показал прирожденную даровитость европейцев. То, что евреи остались в старом культе, доказывает умственную их косность. Иногда слышишь, что евреи шествуют во главе прогресса. Но как нация это самый консервативный из средиземных народов, племя, остановившееся в пункте самом нежном, в пункте духовного своего роста. Даже персы, даже родственные евреям арабы обновили дух свой в новой, более широкой вере, — евреи остались верными своей древности. Нет сомнения, что в Библии даны основы совершенного закона, но построить на них, как на фундаменте, здание нового богообщения они не пожелали. Они, как глухим забором, окружили своих пророков талмудической наукой, темной и бесплодной, они создали себе плетение мысли хуже египетского и вавилонского. Право же, это не доказывает ума нации, а доказывает только его односторонность. Вся душа у них вошла в одну линию, в одну точку, и народ еврейский застыл на тысячелетия, точно в каком гипнозе. Только этим гипнозом и объясняется то, что евреи сохранились: они сохранились, как окаменелость в толще других пород. Более даровитая раса непременно приспособилась бы к новым условиям и слилась бы с европейцами. Евреи гордятся верностью закону, но верность ли это? Если органическая живая форма кристаллизуется, делается неподвижной, — жизнь ли это? Великая вера, потерявшая способность принять новое откровение, не превращается ли в идолопоклонство? Недаром одна из первых заповедей, данных евреям среди громов и бурь, предостерегала Израиль от творения кумира. Недаром толь-

ко что данные Богом скрижали пророк разбил в отчаянии отучить евреев от идолов. Недаром так склонны были евреи менять храм Иеговы на капище Ваала. Кончилось тем, что они свою древнюю веру обратили в великого идола, в деревянное "подобие" живой веры. Вот в чем их истинное богоотступничество. Отступив от человечества, презрев все чужое и запершись исключительно в "свое", евреи тем самым отступили от живого, всегда творящего, всегда обновляющего жизнь Начала.

ПРЕКРАСНЫЙ ВЫХОД

Что делать еврейству? Если оно хочет оставаться еврейством, то что же ему делать, как не бежать не только из России, а отовсюду, ибо везде народы начинают бояться этого племени, выжимать его из себя. Если хотят быть нацией — им нужна территория, независимость и все атрибуты державного народа. Осуществимо это или нет? Если осуществимо, то с бесконечными трудностями. Растениям ползучим, вьющимся не оторвать себя от леса, в котором они переплелись на жизнь и на смерть. Меньшинство уедет, огромное большинство останется. Что же делать миллионам оставшихся?

У Шекспира я нахожу чудесный совет еврейству. Вспомните красавицу Джессику, дочь Шейлока. Она влюбилась в венецианского юношу, молодого, красивого, как она сама. О том, чтобы ее отец согласился отдать дочь христианину, — об этом нельзя было мечтать. Что же делает девушка? Она убегает от отца, переходит в христианство и вместе с возлюбленным начинает новую, очаровательную жизнь. По-моему, она сделала превосходно. Что же было делать бедной Джессике, если ее сердце променяло отца на мужа? Дома, по ее признанию, был для нее "ад". Отец — жадный, темный, жестокий, дышащий ненавистью к христианам, а жизнь христианская, где бродил ее милый, казалась ей такой восхитительной, беспечной, полной радости! Еврей запирал свою дочь, но жизнь проникала сквозь каменные стены, захватила ее, переварила. Убегая из затхлого логовища ростовщика, Джессика разве не убегала из плена? Разве она не спасала свою еврейскую свежесть, молодость, красоту? Весь разум жизни? Это было не бегство, а спасение погибающей, и она бежала, влюбленная, в христианские объятия, на веки вечные отсекая себя от гнилого корня.

История Джессики — это глубокий символ, если хотите — пророчество, в которое евреям полезно вникнуть. Пусть старое еврейство остается помешанным в своем идолопоклонстве самому себе, пусть оно дышит бессильной ненавистью к христианам, пусть оно плетет свои сети, как может. Авось, христианские народы в самую крайнюю минуту сумеют сказать Шейлоку: "Постой! Бери фунт мяса, но ни капли крови." Нет сомнения, что еврейский капитализм, как бы он ни разросся, не спасет еврейство и не погубит христиан. Итак, пусть Шейлок делает, что может. Но что касается прелестной Джессики, что касается всего, что в еврействе молодо, невинно, прекрасно, что влюблено в лучшие начала христианской культуры, несравненно более человечной, чем иудаизм, — пусть все хорошее в еврействе спасается, бежит из гнилой берлоги.

Родной дом — святыня, но лишь когда он дает жизнь и радость. Когда же он грозит гибелью, он хуже западни. А иудаизм как вера есть нравственная гибель, ибо он дряхл и несовершенен и отвергнут человеческим родом. Еврейство вырождается в иудаизме и физически, и нравственно. Оно глохнет в своей исключительности, оно вооружает против себя все народы, оно держится на уровне холодного от всех отчуждения. Зачем это? Еврейству следует разбить эту психологическую черту оседлости и слиться с христианством так же искренно, вот как эта милая Джессика, всем существом своим, всеми восторгами души. Сама истина, которую заключал в себе ветхий закон, спаслась, так сказать, бегством в новое благовествование, в обширный мир человечества. Пусть же все, что есть живого в еврействе, полюбит христианство и бежит к нему. Пусть захватит с собою и все бриллианты, добытые Шейлоком: все упорство этой нации, трезвость, проворство, изворотливость и блеск практических способностей. Всего этого, может быть, недостает у христиан. Но главное — пусть, подобно Джессике, забудет домой дорогу.

Вы скажете, благородно ли изменить вере предков? Я спрошу: благородно ли не изменить ей, если она несовершенна? Разве еврейству не изменили апостолы Христа и первые христиане? Разве сам Христос, рожденный в еврейском законе, не отошел от него? Вера предков... Не превращается ли "вера предков" в "веру в предков" вместо веры в Бога? И притом, что же тут хитрить. Сколько-нибудь образованные евреи разве искренно верят в свой закон? Разве хотя бы втайне не предпочитают ему Евангелие? Приверженность к еврейству для образованных евреев есть вопрос политический, а не религиозный. Поменьше лицемерия и побольше ума и человечности, и евреи давно толпою хлынули бы в христианство. Теперь они назойливо навязывают себя всем народам. Им и предоставляется войти в наше общество, но на началах равенства, такими же христианами, как мы. Они же хотят неслыханной привилегии — войти особой нацией, враждебным христианству союзом. Это опасность слишком очевидная, и с нею всякая власть, уважающая свой народ, непременно вступит в борьбу. И так как исход этой борьбы угрожает конечным поражением евреев, то просто из человеколюбия хочется посоветовать

им: последуйте идее Шекспира! Все, что есть среди вас молодого, доброго, умного, бегите в христианство, а старое и жестокое пусть отмирает естественной смертью. Отчего вам не перенять все лучшее, что у нас есть в христианстве? Мы же переняли все лучшее, что есть в еврействе. Убегая к нам, вы встретите почти все свое, но очищенное, омытое кровью мучеников и мудрецов. Вы встретите все старое и родное, что и мы любим, как свое родное. Но исторический хлам, ненависть, отчуждение, изуверство, талмуд и кабаллу, — все это придется, конечно, бросить. За четыре тысячи лет тяжелого исторического пути мало ли чего не пристанет к ногам. Если не отряхивать ног, дальше и идти нельзя. Еврейство как еврейство уже давно не движется. Оно стояло бы на месте, если бы толпа народов не несла его на себе к идеалам своей общечеловеческой культуры.

Жизнь как она есть сильнее еврейского упорства. Сопротивление напрасно. Подобно шекспировской еврейке великое множество евреек и евреев увлекаются в поток христианской жизни. Евреи, чуть выдвигающиеся из уровня, охотно бросают свой закон. Как бы ни обнаружился у евреев талант, он непременно захватывается христианским искусством. Если евреи грабят христианские кошельки, то христиане грабят у еврейства дарования. В еврействе остаются из века в век только темные и бездарные элементы. Может быть, это и повлияло на религиозный застой этого племени. Как высыхание угрожает замкнутому морю, вырождение неизбежно для всякой замкнутой группы. Даже физическое вырождение. При невероятной иногда плодовитости евреи никак не могут дойти даже до древней своей численности. Их свежие элементы рассасываются в христианстве, несвежие, одеревенелые гниют на корню. Поглядите на еврейский пролетариат в западных местечках. Более жалкого физически племени трудно встретить в Европе. Если что внушает христианам ужас и отвращение, то это не только капитализм еврейский, но и еврейская нищета. Последняя, подобно проказе, пугает не одну Россию, но и Англию, и Америку. Рядом с разжиревшим и — простите грубое слово — обнаглевшим миллионером-евреем стоит не менее опасный нищий "жид", несчастный, голодный, с оскаленными зубами. Оба паразиты, оба страшны, один — силой, другой — крайним бессилием. Оба ведут против христианского общества разрушительную работу. Обоих живая христианская стихия старается безотчетно переварить или выбросить из себя.

Еврейство шумит и бродит, оно делается воинствующим, политическим. Кое-где оно переходит из обороны в нападение. Но это похоже на кризис в болезни. Христианский мир слишком громаден, чтобы не справиться с этим воспалением. Еще немного, и евреи типа Джессики поймут, что они гибнут, что еврейство для них омут, что спасение на христианском берегу. Евреям же типа Шейлока, мстительным и непримиримым, придется или бежать в пустыни Африки, или умереть в отчаянии.

Таково, мне кажется, художественное пророчество Шекспира об окончательной судьбе Израиля.

Валерий Родиков

Кто командует парадом?

Лето 1991 года. Красная площадь. По старинной брусчатке на одного педераста дистанции, но-бэтальонно, торжественно вихляя задами, парами, взявшись за руки, проходят гомосексуалисты. "Дурдом", — подумает читатель после этих строк. Не скажите...

Как сообщил вездесущий "АиФ" (№ 5, 1991) со ссылкой на "Ассошиэйтед пресс", Р. Калинин — редактор зарегистрированной Моссоветом газеты "Тема", председатель Ассоциации сексуальных меньшинств, заявил, что летом этого года международные активисты планируют провести парад гомосексуалистов на Красной площади.

Повод для торжества у столичных гомосеков есть. В первых числах марта демократическая печать — "Куранты", "Независимая газета", "Московский комсомолец", "Комсомольская правда" и прочая, прочая, прочая с воодушевлением сообщили, что Моссовет выиграл судебный процесс у газеты "Каретный ряд". На защиту чести и достоинства моссоветовских депутатов и зарегистрированной ими газеты "Тема" — издания сексуальных меньшинств — ринулся сам заместитель председателя Моссовета Сергей Станкевич. Автор нашумевшей публикации в "Каретном ряде" 17-летний начинающий журналист допустил оплошность: не зафиксировал на магнитофоне свои разговоры с Р. Калининым и моссоветовским депутатом Л. Ю. Абаюшкиным, а те на суде от своих слов отказались. Итак, победа! Суд принял формулировку, содержащуюся в письме Станкевича.

Правда, чтобы защищать честь и достоинство, надобно бы их иметь. А где они? Если верить еженедельнику "Ветеран" (№ 22, 42, 1990), то сам председатель Моссовета Гавриил Попов прямо-таки скабрезный тип. И ничего, проглотил он эти обвинения. Так, поворчал для порядка. Дескать, цель таких публикаций — помешать ему работать в свободное от заграничных поездок время, которого, увы, у него и так мало. Или вот если бы он высудил бы большие деньги, эдак полмиллиона, не меньше, то игра бы стоила свеч. (Видно, не хватает у председателя не только чести и достоинства, но и денег, одна его дача, по газетным оценкам, более 400 тысяч стоит). И вот что удивительно, ни ВС СССР, ни Моссовет не прореагировали на серьезные обвинения в адрес своего депутата. Правда, перед 8 марта Гавриил Харитонович попытался публично отмыться, для чего осуществил свое погружение перед объективами телекамер в ледяную купель в Серебряном Бору. Не знаю, поможет ли этот маоистский трюк очистить городские улицы и наполнить товарами опустевшие полки столичных магазинов?

Но вернемся к "Теме". Позицию Моссовета популярно объяснил в "Огоньке" Д. Катаев, председатель Межведомственной комиссии при Моссовете по общественным объединениям и средствам массовой информации: "Мы знаем, что в уголовном кодексе есть статья, преследующая за гомосексуализм. Но законы, направленные против преступлений, не запрещают о них писать. Так что для отказа в регистрации мы не увидели никаких оснований. Наши личные антипатии роли не играют, если мы строим правовое государство. Любой суд удовлетворил бы иск заявителя"

Да, логика железная. Но скорее всего Д. Катаеву было бы уместнее говорить о "личных симпатиях", нежели об "антипатиях", и вот почему. Д. Катаев, видимо, забыл о таких понятиях, как мораль, нравственность, а может, вообще о них представления не имел. Да Бог с ними, в правовом государстве с этим можно не считаться. Но коли гомосексуализм наказуем, то не является ли регистрация "Темы" актом пособничества нарушителям закона? Ведь и заявитель Роман Калинин, личность демократической прессой разрекламированная, своими гомосексуальными наклонностями бравирующая. Моссоветовские "Куранты" посчитали нужным протиражировать (со ссылкой на подпольную газету "Сексбеспредел") публичное заявление редактора "Темы", "что он не стал бы спать с Михаилом Горбачевым". (Вот это гласность!) А еще дальше — выдержки на эту же

"тему" — про некрофилов, педофилов, скотолюбов и прочих представителях сексменьшинств.

Да и в программных целях и задачах "Темы", опубликованных в "Огоньке", ясно говорится: "Информация о жизни и проблемах сексуальных меньшинств в России и других странах". Так кто же эти сексуальные меньшинства, за которые вступился Моссовет? Его же собственный орган "Куранты" не оставил на этот счет никаких сомнений.

Да, наш суд стал много демократичнее. Не то, что во времена застоя, когда приключилась одна "иркутская история". В разгар брежневщины, как емко окрестил то время Даниил Гранин, судили в Иркутске педагога-педераста, или короче — педа. На суде сей гомосексуал из высшей школы удивился: "Что это за демократия, если я не могу свободно распорядиться задней частью своего тела?" Не знаю, реабилитировали ли за стойную жертву однополой любви, но, похоже, их час пробил.

"Мы сейчас освобождаем наше общество от гнета тотального режима, делаем человека не на словах, а на деле свободным от многолетних догм, от многолетнего попирания человека человеком. И рано или чуть позже, но неизбежно в нашей стране, в России наступит Демократия..." — пишет в газете "Куранты" (№ 3, 1990), органе демократического Моссовета, 27-летний мужелюб Анатолий Н.

А что такое демократия в их понимании, нам уже популярно объяснил иркутский свободолюб. Видимо, так понимают Демократию и депутаты демократического Ленсовета во главе с юристом А. А. Собчаком.

"Посмотрите на наш город, который находится в блокадном состоянии: раздет, разут, с разбитыми дорогами. Но первым делом депутаты решают заниматься не этими проблемами: они подписывают ходатайство об отмене статьи 121 УК РСФСР, карающей за гомосексуализм.

Вот после всего этого и захотелось посмотреть: что это за люди — депутаты Ленсовета. Кто они? Вчерашние безработные (временно не работающие, как они говорили во время предвыборной кампании). Хотя на языке застоя это называлось хлестким словом "тунеядец". Люди, паразитирующие на уголовном прошлом, выдавали его за прошлое политического характера. Мученики..." Это выдержка из интервью "Комсомольской правде" (20.10.90) тогда еще не подстреленного Александра Невзорова. Сегодня и иркутского заодомана, пожалуй, назовут святым великомучеником...

"...Точно известно, что часть депутатского корпуса, тех людей, которые делают сейчас погоду, все их избирательные кампании финансированы тремя кооперативами, наиболее могучими. Причем финансирование производилось тайно и обошлось примерно в 300 тысяч рублей каждому кооперативу... В составе Ленсовета 76 человек, судимых по уголовным статьям, и 34 человека находятся на учете в психдиспансере. Не в качестве политических репрессий и КГБ. А по болезни с детства..." (А. Невзоров, "Вечерний Ленинград", 1.12.90).

Мэр Собчак сказал по поводу пресловутой "тоталитарной" статьи УК РСФСР о гомосеках: "Я не считаю, что это правильный закон..." ("Вечерний Ленинград", 10.12.90). Интересно, как бы восприняли это заявление матери тех мальчиков, которые стали жертвой московского и новочеркасского "фишеров" или ставропольского Сливко, насиловавшего и убивавшего мальчиков только в белых чистеньких рубашках? Кстати, и новочеркасский сексуальный маньяк-изувер поступал в МГУ на юридический, тоже намеревался стать юристом. Окончил бы, вступил в диалог с Собчаком, — вот бы мы получили плюрализм и демократию...

В свое время юриста Керенского охранял женский батальон. Может быть, сегодня юристу Собчаку для своей охраны учредить батальон лесбиянок и забаррикадироваться с ними в Зимнем дворце до следующих выборов? Ведь в городе постреливают, как в 17-м, и такие же очереди да еще карточки, как в блокаду. А вдруг еще и "Аврора" жахнет. Не для того ли ее отремонтировали большевики, чтобы разогнать демократический Ленсовет? (Когда фельетон был написан, узнал, что, действительно, организуется дорогостоящая охрана Собчака. А все-таки лесбийский батальон был бы дешевле для городского бюджета, они бы за идею бесплатно сторожили).

Кстати, Керенский в своей предсмертной биографии признается, уже с 1912 года он был масоном, а "при современной социальной и культурной системе гомосексуалист автоматически оказывается членом международного масонства". Так, во всяком случае, утверждал в 1958 году журнал американских сексуальных демократов "Уан". Вон куда цепочка потянулась. А что? Похоже. Александр Федорович бежал из Питера в женском наряде. Причем у этих "сестер" довольно распространенный. Интересно, в каком наряде побежит из Петербурга мэр Собчак?

Во времена застоя гомосеки и интимные любители всякой живности пребывали в забвении. Не этим ли объясняются наши экономические провалы?

Зато сейчас любители нетрадиционного секса берут реванш. Скотолюбы — герои комсомольских и домашних видеотек показывают наглядный видеопример. То ли насмотревшись "скотороликов", то ли взбодрившись ленсоветовским решением, один ленинградец (об этом рассказал Александр Невзоров в передаче "600 секунд") воспылал страстью к своему волкодаву. Но породистая сука не читала "АиФ", "Собеседник", "Куранты", "Тему", не знала о происходящих переменах и совершила членовредительство.

Главный редактор "Огонька" Виталий Коротич, объявивший себя "цепным псом перестройки", наверняка разгневанно заклеймит кусачую собаку "цепной сукой застоя". На старом Арбате, сам видел, продаются значки с надписью: "Коротич, фас!" Представляете, если он сорвется с цепи? А если подобные церберы собьются в стаю? Караул!

Но стареет "цепной". Только в декабре прошлого года была помещена в "Огоньке" достойная отповедь консерваторам из "Красного ряда", "Правды" и других органов, которые не приемлют демократию свободных задов. Да, реакция уже не та. Не помогло даже зарубежное натаскивание в Колумбийском университете, где в 1959 году обучались будущие перестройщики: главный ее архитектор А. Н. Яковлев и ныне уже бывший генерал от КГБ О. Д. Калугин. Невольно бросается в глаза аналогия: у перестройки — архитекторы, прорабы, у них — каменщики.

(Информация к размышлению: А. Н. Яковлев — один из выдающихся авторов учебника "Научный коммунизм" для студентов вузов, выдержавшего много изданий; прежний борец с плюрализмом в марксизме, а ныне — за плюрализм без марксизма, за виртуозность взглядов избран академиком).

А впрочем, с Коротичем не все так просто. Он сам назвал себя собакой. А если учесть, что его "Огонек", по существу, подбодрил секс-меньшинства, а значит, и скотоложцев, то, естественно, возникает вопрос: кто у него хозяин?

У меня нет сведений о составе Моссовета, таких, как у Невзорова по Ленсовету, но гуляет упорный слушок, будто один из лидеров Моссовета скрывается под париком, да еще в придачу усы приклеивает... Вождь — то понятно, надевал парик, когда от буржуазии прятался. А от кого маскируется моссоветовский "фантомас"? В первом же своем номере моссоветовские "Куранты" игриво намекнули Президенту, что пора, мол, пригласить "голубых" в Кремль. Негоже от Буша отставать. Передовой Буш якобы уже проникся их особенностями и принял однополых любоманов в Белом доме. Правда, не все разделяют симпатии американского президента. Так, палата представителей вынесла порицание конгрессмену-демократу Барни Френку (по суровости это наказание следует за крайней мерой — изгнанием из конгресса) за то, что он использовал свое влияние как законодатель для оказания помощи своему другу-гомосексуалисту.

Что ж, демократы — всюду демократы. К примеру, демократ Гдлян, по словам бывшего коммуниста Юрия Чурбанова, так демократизировал следственный процесс: угрожал отправить его в Бутырку к гомосексуалистам, если тот не даст нужных Гдляну показаний ("7 с плюсом", № 5, 1990).

В связи с фактическим признанием Моссоветом сексуальных меньшинств его энергичный председатель-загранпутешественник Гавриил Попов сможет использовать свои талонно-распределительные таланты в новой сфере, например, впервые в мире ввести талоны на невостребованные из моргов трупы для некрофилов, а еще лучше — осуществить их приватизацию путем аукционной распродажи. Демократично и рыночно, в духе времени! И с гробами будет полегче. А еще лучше — на экспорт, за валюту...

А как быть с жильем для однополых пар? Может быть, демократический Моссовет организует для них льготную очередь?

А вот еще один глас демократии — "Российская газета" (18.01.91) — с воодушевлением сообщает, что у московской "Темы" появился сибирский собрат. В Барнауле вышел первый номер газеты "СВ" сибирского союза гомосексуалистов и лесбиянок. Одна из целей газеты — помощь в поисках друзей и единомышленников. Если раньше были "клубы красных следопытов", то теперь появились еще и "голубых следопытов".

Ума не приложу, почему все-таки демократы не любят Октябрьскую революцию. Ведь едва придя к власти, наши первые наркомы почти сразу же, правда, без шумихи, исподтишка, отменили все законы против любителей нетрадиционного секса. Новая власть видела в "голубых" союзников. "Любимец партии" Н. Бухарин выпускал под своей редакцией первую советскую энциклопедию, в которой акцент сделан на необходимость вовлечения сексуальных меньшинств в социалистическое строительство в свободном от "буржуазных предрассудков" обществе.

"Революция не оставила камня на камне от старых бюрократических, деспотичных и крайне ненаучных законов, — просвещает молодежь

"Собеседник" словами Григория Баткиса, одного из ведущих советских специалистов по половому вопросу после 1917 года. — Буржуазные законы всегда составляются без учета данных науки... Что касается гомосексуализма, содомии и различных других форм сексуального удовлетворения, которые европейское законодательство рассматривает как угрозу общественной морали, то советское законодательство относится к ним как к так называемым "естественным" половым отношениям. Все формы половой жизни являются частным делом".

В июне прошлого года я был близ историко-архивного института. Приятель, здесь работающий, сказал: "Хочешь, гомосеков покажу, они в историко-архивном собираются". Спешил я очень, не до того было... Но подумал: почему это Юрию Афанасьеву, ректору историко-архивного, Октябрь не по душе? Души-то родственные.

Символично, что в газете "Паритет" (№ 3, 1990), среди учредителей которой первым значится "Всесоюзный центр кино и телевидения для детей и юношества", рядом со статьей демократа Юрия Афанасьева "Октябрьские тезисы" соседствует публикация А. Быстрицкого "Гомосексуализм и перестройка". Они прекрасно дополняют друг друга. В своих тезисах педагог-историк призывает к разделу Советского Союза и уничтожению госбезопасности, для чего "надо добиваться единства демократических сил на всех уровнях". "Движение гомосексуалистов стало значительной частью общедемократического движения на Западе", — подсказывает ректору на соседней полосе защитник гомосексуалистов (вероятно, малолетних, поскольку основной учредитель газеты печется о детях и юношестве). Автор "Гомосексуализма и перестройки" мечтает о том времени, когда на Верховном Совете СССР будут обсуждаться проблемы однополого брака, а лидер РКП будет радостно приветствовать лидера "голубых". Ведь на Западе, утверждает Быстрицкий, коммунисты "вовсю поддерживают гомосексуалистов". Следуя "паритетной" логике, можно сделать неопровержимый вывод: раз в СССР гомосексуалистов вовсю поддерживают демократы, значит, именно признание гомосексуализма способно "породить действительно демократическое общество".

(Справка: известно, что все разнообразие сексуальной свободы проистекает от психического и физического нездоровья).

Теперь расшифруем призыв Юрия Афанасьева: демократы, то есть психопаты и неврастеники всех уровней, объединяйтесь! Да, хороша тематика для "детей и юношества"...

Статистика утверждает, что двуполые люди — в основном люди двуличные. Не знаю, верно ли обратное. Во всяком случае, А. Собчака и Г. Попова, судя по их делам, лично я отношу к людям двуличным. А как еще совместить их борьбу за "сексуальное инакомыслие" с присутствием на торжественных христианских церемониях?! Неплохо бы им освежить в памяти Библию, и в частности, такие строки из Послания Апостола Павла к Римлянам: "(25) Они променяли правду о Боге на обман и поклонялись вещам рукотворным и служили им, а не творцу, вовеки благословенному. (26) И вследствие всего этого Бог оставил их во власти постыдных страстей. Женщины променяли естественные отношения с мужчинами на противоестественные сношения с женщинами. (27) Мужчины же также отказались от естественных сношений с женщинами и воспылали противоестественной страстью друг к другу... (28) И поскольку они не считали нужным признавать Бога, то он оставил их во власти их же собственных извращенных умов и предоставил им совершать все эти недостойные поступки... (29) Эти люди исполнены всяческих грехов: зла, жадности, себялюбия, ненависти, жажды к убийствам, фальши, ревности, и всегда думают о других самое плохое. Эти люди сплетничают, (30) клевещут друг на друга и ненавидят Бога. Они грубы, полны гордыни, всегда похваляются перед другими, измышляют способы чинить зло, не почитают своих родителей, дерзко ведут себя со всеми. (31) Они глупы, никогда не исполняют обещанное, никого не любят и безжалостны ко всем. (32) И хотя им известен закон Божий, гласящий, что те, кто повинен в подобном, заслуживают смерти, они не только именно так и поступают, но и одобряют, когда и другие ведут себя так же".

Так о Боге ли думают в церкви Собчак и Попов? Сдается, что о Дьяволе!

Еще в конце прошлого века сексолог, некий Магнус Хирфшельд, потребовал правового равноправия "половых актов между лицами одного пола и половых актов между лицами разного пола". Он выступил инициатором петиции, которую подписали знаменитый физик Альберт Эйнштейн и лидер социал-демократов Германии Август Бебель. Вселился бесенок и в академика А. Д. Сахарова, которого сейчас многие называют "нашей совестью". В августе 1973 года он подписал "Гуманитарный манифест", в котором есть такие строки: "В области половых отношений мы верим в то, что нетерпимость, часто культивируемая ор-

тодоксальными религиями и пуританской культурой, напрасно ограничивает рамки сексуального поведения".

Что имел в виду знаменитый демократ? В Библии все по полочкам разложено насчет ограничений. Ведь в курсе, наверное, был академик...

В 20-е годы профессор Питирим Сорокин написал статью "Нравственное и умственное состояние современной России". Он подметил интересную общность, свойственную революциям: "Революция, объявляя многое предрассудком, т. е. разбивая ряд тормозов поведения, сдерживающих проявление примитивно-биологических импульсов, разбивает и те тормоза поведения, которые ограничивают свободу удовлетворения половых инстинктов. Отсюда — рост половой вольности при всех эволюциях. У нас он проявился с необычайной силой, захватив, прежде всего, молодое поколение, у которого моральные тормоза, естественно, слабее. Большая "заслуга" в этом принадлежит прежде всего партии коммунистов, энергично принявшейся бороться с "мещанско-буржуазными" половыми предрассудками. Отдельные ее члены, вплоть до лиц, занимавших очень высокие посты в Наркомате просвещения, взялись за эту борьбу "экспериментально", путем публичного развращения институток и гимназисток..."

В полемику с профессором вступил вождь революции В. И. Ленин. Он откликнулся статьей "Освобождение от буржуазного рабства" и усмотрел в этом "великую заслугу коммунистов". В ответ Питирим заметил: "Да, освобождение, несомненно, но чего? Половых органов, а не людей".

Сейчас перестройка — тоже революция. Однако отличие от Октября все же имеется. Как всем уже стало ясным, вместо "марксисты" надо читать "демократы".

Все мы знаем, что ленинская концепция социализма была искажена тираном Сталиным. Пострадали советские гомосексуалисты. В 1933 году диктатор повелел ввести в наше законодательство параграфы, запрещающие мужской гомосексуализм. "В Москве, Ленинграде, Харькове и Одессе, — повествует "Собеседник", — начались массовые аресты гомосексуалистов". Советское искусство понесло большие потери. Но не только оно. Красная Армия также лишилась своего гомосексуального ядра, что, видимо, сказалось на ее боеспособности. Не в этом ли причина неудач в Финской кампании? Не любил извращенцев и другой тиран — Гитлер. В 1933 году бедные немецкие лесбиянки и гомосексуалисты были отправлены в концентрационные лагеря. Вождь штурмовиков Эрнст Рэм был арестован в "Ночь длинных ножей" 30 июня 1934 года прямо в постели, где он страстно ласкал волосатые ягодицы своего шофера.

Не знаю почему, но недолюбливал творческую интеллигенцию волюнтарист Хрущев. В декабре 1962 года на выставке в Манеже наш дорогой Никита Сергеевич бросил известному скульптору Эрнсту Неизвестному и его сотоварищам-авангардистам такие слова: "Педерасты несчастные!". Надо полагать, что информация к первому лицу государства поступала из компетентных источников. Правда, премьер был неоригинален. Еще один из персонажей "Похождений бравого солдата Швейка" заметил: "...только эстеты — гомосексуалисты; это вытекает из самой сущности эстетизма".

Интересно, что в феврале нынешнего года киношные эстеты — из Союза кинематографистов — всем скопом вступили в партию "Демократическая Россия"...

Не знаю, реабилитировала ли армейских гомо комиссия под руководством А. Н. Яковлева? Если нет, то это очевидный просчет.

Ныне в связи с новым мышлением в области военного искусства появился лозунг "ни шагу вперед" вместо прежнего "ни шагу назад". Взамен ликвидируемых ракетных, авиационных, танковых, артиллерийских частей надо создать "голубые дивизии", ориентированные только на оборону. ООН, надо полагать, принимая во внимание отсутствие валюты, окажет нам бесплатную гуманитарную военную помощь — выделит из своих фондов для наших новых армейских формирований голубые каски. Эти меры усилят столь необходимое перестройке доверие со стороны нашего потенциального противника.

"Демократизация" армии (не путать с деполитизацией) при правильном процентном формировании (50% — активных, 50% — пассивных) устранит дедовщину и конфликты на национальной почве. Ну, кто будет бить любимую жену, хоть она и мужчина, или осел, или собака? Только злодей-рецидивист или дикий ревнивец Отелло! С этим позорным явлением будут бороться пассивные гомсоветы. В политорганах голубых частей будут исключительно демократы, никаких коммунистов, даже сочувствующих их голубому движению.

Кстати, я не оригинален. Предстоящую "демократизацию" армии обсуждают и в народе. Правда, на уровне анекдотов. Например, один из них. Сидят в окопе "голубые", держат оборону.

Наступает противник. "У вас блондины есть?" — кричит в мегафон "голубой" командир. "Нет", — отвечает враг. "А голубоглазые?!" — "Нет". — "Тогда беспощадный, беспощадный огонь", — тонким срывающимся голосом командует пассивный гомоофицер.

В связи с положением в Персидском заливе наши "демократы" требовали послать в Саудовскую Аравию войска для защиты американских интересов. Склонялся к этому и подавший в отставку министр иностранных дел Шеварднадзе. Не поняли его. А надобно было поддержать. В срочном порядке создать бы армейский мобильный ослиный корпус из демократов-скотолюбов.

Выдающийся педагог по марксистской этике, крупнейший борец с путиками буржуазной идеологии и учеными реакционера Христа, один из виднейших авторов книги "Основы марксизма-ленинизма", а ныне знаменитейший сексопатолог (и, видимо, гинеколог и геолог) Игорь Кон сосчитал для еженедельника "Аргументы и факты" количество гомосеков, лесбиянок, педофилов, скотолюбов, любогрупов и прочих сексуальных неврастеников и психопатов. Как он ухитрился это сделать — нам неведомо, но точную цифру назвал — 10—15 миллионов. Целый легион. (Информация к размышлению: в Библии сказано про дьявола — "имя твое легион").

Не принято кончать иронические заметки на серьезной ноте. Но рискну. Тема эта серьезная. Разве не знают наши высокопоставленные "демократы" мнение авторитетных западных специалистов, что гомосекс — это самоубийство нации. Если "голубые" окажутся в демократическом большинстве, то общество и человечество погибнут. А теперь реалии сегодняшнего дня. Прошедший год вошел в историю России как первый год, когда в ряде наших регионов показатель смертности превысил показатель рождаемости ("Советская Россия", 26.12.90). И это в мирное время. А может, такая участь уготована нам в общеевропейском доме: освободить территорию для тех, у кого твердая валюта? А то у них на Западе уже и плюнуть негде.

...И все-таки интересно: разрешит ли демократический Моссовет парад гомосексуалистов на Красной площади, и если да, кто будет принимать смотр "голубых легионов" — Гавриил Попов или его моложавый зам?

Даниил Скобцов

Три года революции и гражданской войны на Кубани*

С особым настроением прибыли делегаты Кубанской Войсковой Рады с июньского общеказачьего Съезда в Петрограде, среди них П. Л. Макаренко и И. С. Коробкин.

Наказ Рады не принимать от имени Войска никаких обязательств они добросовестно выполнили, а в смысле информации они имели возможность видеть и слышать в столице многое. В Петрограде в это время заседал 1-й Съезд Советов, и было все еще полно эхом Съезда крестьянских депутатов и т. д.

Всероссийский казачий Съезд состоялся 7—19 июня (ст. ст.). На нем было около 300 делегатов от 12 казачьих Войск.

О заявлениях во время Съезда кубанского делегата Петра Макаренко в "Известиях" Петроградского Совета рабочих депутатов от 7 — 20 июня (№ № 88, 90 и 93) было напечатано, что "казаки постановили требовать ареста Ленина и его товарищей, этих бездельников, с которыми мы можем справиться". А в заключительной части резолюции самого казачьего Съезда по политическому моменту говорилось, что "Временное правительство может опереться на казачество в борьбе с анархией..."

Но сами наши делегаты вернулись из Петрограда встревоженными.

Знаменитая фраза "селянского министра" Чернова, что "казакам-де придется потесниться — они имеют большие наделы земли", — произвела крайне отрицательное впечатление как на самих казачьих делегатов, так и по возвращении их к себе домой на слушателей их докладов.

Много говорилось об общем склоке в государственном центре и пленении власти "толпой безответственных лиц".

Для подкрепления своих заявлений Петр Макаренко ссылался на мнение видных политических деятелей, между прочим, на Г. В. Плеханова, которых ему пришлось посетить в Петрограде и которые будто бы одобряли казачьи позиции.

Веселой минутой собрания с докладами делегатов была одна, когда другой член делегации И. С. Коробкин рассказал о храбрости Ленина.

На одном из собраний Съезда Советов, где присутствовали и наши делегаты для информации, Ленин сделал заявление, меряя шагами эстраду. Коробкин описал при этом всю неказистую фигуру будущего всероссийского диктатора: "Небольшой человек с козлиной бородкой..."

И вот его спросили:

— Согласились бы вы, товарищ Ленин, взять теперь всю власть в свои руки?

— Да, взял бы, и знаю, что я стал бы делать.

Для всех нас, слушателей, перед которыми только что была нарисована общая безотрадная картина положения государственной власти, самоуверенность "человека с козлиной бородкой" показалась столь занимательной, что все дружно засмеялись. Тогда это было определенно весело. Но характерно то, что этот случай докладчик все же запомнил и счел нужным доложить Раде.

Общее настроение, созданное докладами делегации, было тягостным, правда, в глубине души все же оставалась вера в то, что авось в конце концов все образуется.

Первая сессия Кубанского Областного Совета открылась 24 июня (ст. ст.). Основной его задачей было рассмотрение вопроса о местном всесословном земском самоуправлении.

Но разработанного проекта ни Областной комитет, ни Войсковое правительство Совету не представили. В прямую задачу последнего это, впрочем, совсем и не входило. Правда, среди членов правительства ко времени открытия Областного Совета сторонников земства прибавилось, и при этом сторонников, вполне сознательно усвоивших данную мысль. Здесь оказались, кроме Скидана, еще молодой А. Ф. Лях и Д. С. Филимонов (однофамилец Войскового атамана Филимонова).

Областной же комитет заговорил сам себя, и те общие положения, на которых он в конце концов

* Продолжение. Начало в № 4.

остановился, были так далеки от жизни, что группе Ивана Макаренко, оставшейся в меньшинстве в комитете, нетрудно было сформировать свои контрпредложения, которые не лишены были определенной доли основательности.

Неприятна была та заносчивость, которой не чуждо было иногороднее руководительство, и стремление поприжать казаков своей численностью.

Первая стычка сторон Совета произошла уже при выборах председателя. Казаки выставили кандидатуру Рябовола, иногородние — присяжного поверенного Либермана. Первый — казак старой Динской станицы (в старом Запорожье так назывался один из куреней); Либерман — еврей, новый человек на Кубани.

Рябовол победил, но очень незначительным большинством.

В товарищи председателя прошел почти единогласно кандидат иногородних, видный педагог и бывший городской голова г. Армавира, но тоже казак по происхождению М. Л. Закладный. Последнее обстоятельство нужно особо отметить. В то время некоторые природные казаки становились на платформу иногородних, кроме Закладного, например, ветврач Юшко и др. Во время этой очень непродолжительной сессии Совета не однажды выступал с прекрасно построенными речами М. А. Троценко, тоже казак, но прошедший делегатом на общеобластной Съезд от иногородних Лабинского отдела. Он высказывался за широкое привлечение к местному строительству через органы земского самоуправления всех слоев населения для укрепления с такими жертвами полученных свобод и для поддержания гражданского мира в Области. Деятельность Макаренко Троценко охарактеризовал как мракобесие и злостную реакцию. В поддержку Макаренко выступал на заседаниях Совета горец Султан-Шахим-Гирей. Но так как он высказывался за введение при конструировании Кубанского земства некоторых цензовых ограничений, то его поддержка лишь опорочивала систему Макаренко. Так или иначе, но в первые же два-три дня заседаний хитросплетения Макаренко на "тему" о Кубанском земстве были разоблачены, а у Областного исполнительного комитета, как было ясно с самого начала, никакого конструктивного плана не оказалось. Совету, собственно, делать было нечего. Разве что самому погружаться в комиссионную работу по выработке проекта положения о Кубанском земстве.

Тут на сцену выступили новые лица, до того державшиеся в тени за спиной Макаренко. Своим они его никогда не считали, его ура-казачьих убеждений не разделяли, но не мешали развертываться и блистать.

Эти лица — Бескровный, Иванок, Левицкий, кубанско-украинская "спилка" социал-демократического направления, близкие знакомые (а некоторые и друзья) Петлюры.

Как раз к этому времени, началу июля 1917 года, на Украине был выпущен Центральной Радой II Универсал, которым оповещалось об установлении на Украине ее управляющего органа (на основах автономии) — Генерального секретариата с В. Винниченко во главе. "Спилка" на Кубани в земстве по российскому замыслу не нуждалась. Боевой командир этой группы Н. С. Рябовол в Совете занимал председательское место; при нем находился его свояк и человек, всегда готовый на всякие вторые роли, — С. Ф. Манжула́.

Было устроено отдельное заседание казачьей части Совета, и тут появилось предложение о снятии совсем с повестки дня Совета вопроса о земском самоуправлении на Кубани. Такой оборот дела означал разрыв с иногородней частью Совета, тем более, что при общих прениях в Совете демагоги из того лагеря уже бросали казакам упрек в сознательном саботаже вопроса. Наша группа приняла все усилия, чтобы казаки такого предложения о земстве не делали. Прения закончились неопределенно, резолюция, угодная группе Бескровного, не была принята, но настроение, близкое к тому у очень многих членов совещания, определилось.

После полудня началось общее заседание Совета. Ораторы с иногородней стороны с того и начали: стали развивать мысль о саботаже земства казаками. При таком обороте дел казакам из групп "спилки" и "ура-казакам" было неудобно проводить наметившееся свое решение.

А. П. Филимонов, председатель правительства, взял слово для опровержения "недостойных наветов" на Войсковое правительство. — "Оно-де (правительство) ночей не спало, но трудилось на общую пользу и, в частности, прилежно занималось вопросом о введении земства на Кубани." В подтверждение своих слов для вящего обличения противника Филимонов извлек из-за верхнего отворота черкески небольшую бумажку и прочел написанное на ней. Это были кратко сформулированные тезисы проекта положения о "земском самоуправлении в казачьих областях" на широко демократических началах.

Эффект получился исключительный.

Скидан, старый сторонник земства на Кубани и в то же время отлично осведомленный об истории появления за пазухой у Филимонова прочитанных им тезисов, с поспешностью попросил себе слова, в краткой речи приветствовал жест Филимонова, в результате коего преданы гласности тезисы, и выразил надежду, что после этого А. П. Филимонов вместе с другими членами правительства приложат старание и поставят на практическую ногу дело введения земства на Кубани.

Обе стороны Совета были смущены: иногород-

ние от общей неожиданности и явно клеветнической собственной роли, выпавшей на их долю, а казаки группы Бескровного и Макаренко оттого, что так же неожиданно они в лице своего председателя правительства оказались ангажированы на то, чего у них и в мыслях не было.

Разряд сгустившейся атмосферы пришел оттуда, откуда никто его не ожидал.

Позади председательского кресла, в дверях, ведущих из соседней комнаты в зал заседания, где столпилась группа членов Войскового правительства, произошло бурное движение. Третий старик из Войскового правительства, Д. С. Иваненко, рвался к председательскому столу, а Манжула, схватив его за фалды черкески, всячески старался оттеснить назад.

— Я прошу слова, — в отчаянии воскликнул Иваненко и, вырвавшись из рук Манжулы, выскочил на середину.

Заявление его было кратким. (Он, оказывается, не мог стерпеть, чтобы его собственные лавры кто-то другой возлагал на свою голову). Он выпалил:

— Тезисы, прочитанные А. П. Филимоновым, я лишь на днях привез из Петрограда, и они еще не были рассмотрены правительством!

— Ага! Попались! — возопил во весь голос известный демагог из группы иногородних — г-н Б., выскочил вслед за Иваненко на середину и произнес еще несколько недопустимых выражений в адрес Войскового правительства.

С. Ф. Манжула, поняв, что настал момент ему выступить на сцену, прокричал:

— Браты-казаки! Здесь оскорбляют нашего председателя. Нам нечего тут делать...

Он сам ринулся из зала, за ним другие члены их группы, а затем и другие казаки. Заседание закрылось.

На следующий день казаки собрались в другом помещении. Идея разрыва принимала реальные формы. Но эта реальность пугала. Рядовые члены Совета, казаки, после сессии его должны были явиться домой в станицы и дать отчет о своих занятиях. Там они должны были встретиться и с казаками, и со своими иногородними, взаимоотношения тех и других в станице сплелись в сложный узел, но не всякий был способен рубить его сплеча.

Троценко, я и другие члены нашей группы, к этому времени достаточно сплотившейся, еще и еще выступали с призывом не рвать, не нарушать единства предварительного органа областного населения. Моментами наш призыв как будто бы доходил до сознания большинства членов Совета.

Но Н. С. Рябовол был "ловким" председателем. Вовремя прервет оратора, вовремя, если нужно, доведет дело до председательского кризиса, разрешавшегося, конечно, для него благополучно. А когда и эти средства не действовали и грозила опасность получить при голосовании неугодное большинство, он сейчас же после речи оратора объявлял перерыв, а в перерыве проводилась обработка неискушенных в своеобразном "парламентаризме" членов собрания.

К вечеру все же пришли к решению: еще раз испробовать путь к примирению. В комиссию по выработке условий для этого избрали старейшего казака Ф. А. Щербину, Петра Макаренко и меня. Мы не замедлили выполнить сделанное поручение, и в общем заседании Совета наши условия были приняты, но Манжула или кто-то другой внес дополнительный пункт: в удовлетворение нанесенного председателю правительства оскорбления потребовать от фракции иногородних согласия на исключение совсем и навсегда из областного Совета г-на Б.

Двенадцатилетняя предреволюционная практика Государственной думы приучила к тому, что депутатов можно исключать за разные провинности из состава представительного органа, но... на строго ограниченный срок. Тут же требовалось навсегда исключить г-на Б. Некоторые члены собрания за поздним временем, вследствие общей усталости от бесконечных и по существу малосодержательных прений, просто не освоили всю неприемлемость для иногородних этого дополнительного условия, а оно было подчеркнуто как непременное.

Произошло голосование, и большинство приняло все условия, а идти с ними к иногородним договариваться, соглашаться уполномочили, как я ни отказывался, опять же меня и Петра Макаренко.

Длинной речью убеждал И. Л. Макаренко иногородних принять наши требования, при этом часто повторяя:

— Ведь это же Кубанское Войско оскорблено... Войско...

Моя роль свелась лишь к личным переговорам с Заклацким, Либерманом и другими, чтобы убеждать их в необходимости оказать все свое влияние и избежать разрыва.

Они разделяли мою точку зрения и пообещали со своей стороны сделать все возможное для принятия ее.

На другой день иногородние прислали к нам делегацию, и еще раз произошел обмен делегациями. Вечером 3 июля в казачьей части Совета еще подвергли рассмотрению создавшееся положение. Мы пробовали еще приводить доводы благоразумия, но все оказалось тщетным.

В зал заседания, несмотря на поздний час, стали стекаться чины Войскового штаба, Областного правления, офицеры гвардейского дивизиона и пр. Стало очевидным стремление придать разрыву торжественную обстановку.

Некоторые из моих друзей и я ушли из зала.

Разрыв был объявлен во вторую половину ночи с 3 на 4 июля.

Функции Областного Совета объявлялись перешедшими к казачьей его части — Войсковому Совету.

Органом высшей исполнительной власти в Области объявлялось Войсковое правительство, которое осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с комиссаром Временного всероссийского правительства.

Одной из ближайших задач Войскового Совета и правительства объявлялось введение земского самоуправления на Кубани.

Комиссар всероссийского Временного правительства К. Л. Бардиж признал целесообразность происшедшего, а позже добился и от Временного правительства признания целесообразным изменения в управлении Областью, чтобы "надежнее шло укрепление демократического строя".

С казаками остались представители горцев, следовательно, здесь было представительство большей половины населения Области.

...В ночь с 3 на 4 июля раскол произошел по признаку казачьей или неказачьей группировки областного населения. У представителей действующих сил не оказалось достаточной воли к сотрудничеству.

Перед нами, казаками, получившими поручение своих станиц представлять их интересы в общеобластном представительном органе, проявлявшими крайнюю степень старания к избежанию разрыва, но оказавшимися в меньшинстве, ставился вопрос личный: как быть?

— Да, мы — казаки, нам некуда уходить от казаков.

Для нас оставался один путь: работать в родной среде, считать наиболее важным восстановление и сохранение гражданского мира, использовать все силы и возможности для укрепления исстари здесь заложенных и теперь вновь обретенных идей народоправства и гражданской свободы.

Чиновники Областного правления и Войскового штаба своим актом участия в манифестации в ночь с 3 на 4 июля на стороне Войскового правительства как бы признали окончательно его своим областным начальством и т. д. Войсковому правительству давался в руки готовый технический аппарат. Быть может, при другом составе Войскового правительства дело пошло бы на лад и процесс консолидации пореволюционной власти в области дал бы положительные результаты.

Но Войсковое правительство по-прежнему "заседало" и многословило.

Большой любитель комфорта, его председатель А. П. Филимонов по каким-то причинам как бы утерял волю к активности. Стихией же его товарища И. Л. Макаренко всегда было что-либо бурное — протест, некое подобие заговора и т. п.

В каком направлении он готов был теперь направить свою бурную энергию, показал следующий случай.

А. П. Филимонов с начальником Войскового штаба вскоре после "разрыва" выехали из Екатеринодара на Теберду, кубанскую чудесную климатическую станцию. У кормила правления остался Макаренко. В это время распоряжением Верховного командования передвигались в каком-то новом направлении казачьи части, в пределах Области появились эшелоны 2-го Хоперского полка. Продолжалась война, и вопрос обороны государства, казалось, должен бы доминировать. Не тут-то было. И. Л. Макаренко властью председателя Войскового правительства отдал приказание о задержании эшелонов на Кубани.

Воинская часть, получившая от Верховного командования указание направления движения, должна знать причины задержки. С тревожными телеграммами-запросами от командира полка появился в правительстве и. о. начальника Войскового штаба. В ст. Гол-о его попросили подождать.

Обсуждение вопроса в правительстве происходило при непрерывно возникающих тяжелых инцидентах. Предыдущие дни все жили в большом нервном напряжении. Некоторые члены правительства из-за слез не могли закончить своих речей. Я был в этом заседании. Все жили в эти дни, кроме местных дел, еще под тяжким впечатлением от июльского выступления большевиков в Петрограде и первых казачьих жертв, сопровождавших это выступление.

Заседание правительства длилось до полуночи. Макаренко понял, что перехватил, и испугался своей ответственности.

Решительная телеграмма, к тому же из Петрограда, полученная в ответ на запрос кого-то из начальствующих лиц Войскового штаба, сыграла благотворную роль. Распоряжение о задержке эшелонов полка было отменено.

...На другой день на соборной площади всенародно, в присутствии некоторых воинских частей, пелась панихида по павшим казакам в Петрограде 3—5 июля.

Макаренко, после всего совершенного, держал речь к войскам и народу, подчеркивал лояльность местной власти в отношении всероссийского Временного правительства и пригласил прокричать "ура" в честь "великого патриота земли Русской" А. Ф. Керенского...

В Москве в это время происходило Государственное Совещание.

Первые газеты с отчетами о Совещании пришлось прочитать на обратном пути в Екатерино-

дар. Оказывается, наши представители вошли в общеказачью группу и делали заявление устами А. М. Каледина.

Что казалось непонятным и странным, так это обилие стонов и пророчеств о грядущих тяжких испытаниях и даже гибели государства.

На собрании созванного в Екатеринодаре Войскового Совета, на котором сделали доклад кубанские делегаты о московском Государственном Совещании, впервые было произнесено слово "федерация" как желательная форма будущего государственного устройства России. Произнес это слово Рябовол и, как всегда, кратко, без особых подходов, раскрыл его содержание для казаков:

— Только при федеративном строе России казаки могут рассчитывать на автономию и на самостоятельное распоряжение своими землями и прочими угодьями.

Общее внимание вдруг было сдвинуто в другую сторону. Общее смущение вызвал акт Верховного Главнокомандующего. Понятие об иерархии власти и дисциплине у казачества было устойчивым, а тут вдруг требование передачи власти лицу, по общему смыслу, подчиненному. С другой стороны, и провозглашение изменником Верховного Главнокомандующего, да еще такого, как Корнилов, — все это не вязалось с общим представлением.

Но нужно отдать справедливость Войсковому правительству.

В этот момент оно выдержало позицию лояльности в отношении верховной государственной власти.

Однако все сведения, приходившие из государственного центра, свидетельствовали, что развал продолжается. На Кубани стало крепнуть убеждение, что на всякий случай нужно самим казакам организоваться. Усилилось течение в пользу скорейшего образования так называемого "Юго-Восточного Союза" с главными составными его частями — казаками Дона, Кубани и Терека, "вольными народами степей и гор Северного Кавказа", как торжественно именовались калмыки, черкесы и другие горские племена. Допускалось привлечение в Союз и казаков, территориально отдаленных от главной ячейки, то есть казаков Астраханского, Оренбургского и Уральского Войск. Мысль, как уже отмечалось выше, здоровая, но тогда все умели много говорить, но мало делать. Иногородняя часть населения сейчас уже увидела в идее Союза новый этап казачьего заговора, а кубанская группа друзей Петлюры вообще отнеслась к этому делу с холодком, так как это могло увести Кубань, через Дон, мимо Киева и мимо уже намечавшейся "незалежной" Украины.

Итак, начало делу было положено уже в июле. В Новочеркасске была тогда устроена по великодержавному обычаю малых образований особая конференция. Донской Большой Войсковой Круг, созванный на 5(18) сентября, благословил свое правительство "принять участие в работах конференции, созываемой в Екатеринодаре по этому вопросу", но 2-м пунктом своего постановления Войсковой Круг ставил создание Союза в зависимость от окончательного решения Всероссийского Учредительного собрания.

Организационная работа разбивалась на много громоздких этапов.

Обстановку екатеринодарской конференции Макаренко постарался создать высокоторжественной и говорливой.

К тому же, на конференции не сразу приступили к разрешению своей прямой задачи. Члены ее начали высказываться по "текущему моменту", прежде всего о мнимом мятеже на Дону в "Корниловские дни."

Поведение представителей центральной власти на конференции охарактеризовали как "злостную и предательскую провокацию", а попутно с этим присовокупили, что ей (конференции) "все вселяет впечатление, что и дело о мятеже ген. Корнилова может оказаться также результатом планомерного предательства и провокации борющихся за власть ответственных и безответственных лиц и организаций"...

"Корнилов — сын простого казака Сибирского войска, — говорилось в той же резолюции, — конференция настаивает на самой широкой гласности расследования дела ген. Корнилова со включением в комиссию (Верховную следственную) представителей казачьих Войск", "иначе казачество сделает свои самостоятельные выводы по этому делу..."

Так как актом Временного правительства в начале сентября Россия была объявлена республикой (не ожидая созыва Учредительного собрания), то "юго-восточная конференция" нашла себя обязанной высказаться и по этому поводу.

Упрекнув Временное правительство в присвоении не принадлежащих ему прав, конференция тут же объявила от имени казачества (конечно, тоже без полномочия на это), что оно (казачество) мыслит Россию "единой, неделимой федеративной" республикой.

По основному же своему вопросу екатеринодарская конференция разрешилась лишь пространной и довольно нескладной декларацией, в которой были сохранены все "рогатые" места как в отношении общероссийской власти, так и вообще неказачьего российского населения. Между тем, по существу, создание целевого Юго-Восточного Союза для объединения действий войсковых правительств и им подобных местных правительств, если бы такие образовались для поддержания порядка в своих областях, и доведения страны до всероссийского Учредительного собра-

ния, — ничего одиозного ни в ту, ни в другую сторону не было, а было бы вполне своевременным. Однако местные кубанские "иногородние" стали упрекать своих казаков, что они скорее готовы объединиться с калмыками и черкесами, чем с ними, русскими людьми.

Для окончательного завершения дела — для принятия устава Союза назначена была конференция в главном городе третьего казачьего войска — Терского, в г. Владикавказе.

К концу сентября авторитет центральной государственной власти упал в глазах местных людей низко. Комиссар ее, К. Л. Бардиж, уже как бы состоял при кубанском Войсковом правительстве лишь в виде какого-то старшего советника — наблюдал, но в управление не вмешивался.

Обломок иногородней части областного Комитета (значительная часть его членов дезертировала) превратился в особый агитпункт против Войскового правительства. Оставшиеся его члены, раздражаемые недостатком средств, отпускаемых на их содержание, отзывались протестом чуть ли не на каждое постановление "узурпаторов", то есть казацкого Войскового правительства. Горючего материала в Области накоплялось все больше и больше. Узловые железнодорожные станции — Армавир, Кавказская, Тихорецкая забивались "законными" и "незаконными" дезертирами, которые под разными предлогами приставали к местным запасным частям, где их прикармливали, и увеличивали мощность этих притонов неприязни к казакам.

...В Екатеринодаре собралась Войсковая Рада для окончательного урегулирования вопроса о самоуправлении и управлении. Правительству до последних дней не удосужилось серьезно заняться этим. Однако накануне открытия Рады Макаренко принес на заседание правительства свой личный проект "Временных положений о высших органах власти на Кубани". Мне пришлось быть свидетелем того, как сильно оглушил он этим своим личным проектом и раньше видавших от него всякие виды своих сочленов по правительству. Но назавтра с подобным проектом правительству нужно было выступить перед Радой. Задерганные члены правительства принялись вносить свои поправки в проект Макаренко. Просидев, однако, до самого утра, не сумели согласовать все поправки с основным текстом и решили направить проект с поправками к нему в готовую образоваться в Раде комиссию по самоуправлению как "материал для работы". Комиссия по самоуправлению снова стала центральной, но теперь у ее членов была уже некоторая практика в работе.

Первым и бесспорным стал у комиссии вопрос о восстановлении должности Войскового атамана, главы Войска. Но каким размером прав наделить его — это вызвало много споров. Группы Макаренко и Бескровного — "ура-казаки" и "спилка", или, как теперь для краткости их называли, просто "черноморцы", высказывались за сильную атаманскую власть. Наша "линейская" группа была против сильной атаманской власти. Мы на своем настояли. Рада решила, что атаман должен избираться Большой Войсковой Радой, но он должен оставаться только высшим представителем и высшим военным начальником. Но приказы его без контрассигнования председателя правительства или члена правительства, ведомства которого приказ касается, не имели силы. Председателя правительства должна избирать (малая) Законодательная Рада, она уже утверждала затем других членов правительства из кандидатов, представленных ей председателем правительства. Атаман только после сформирования правительства подписывал совместно с председателем приказ о назначении правительства.

Другой спорный вопрос был о полноправных гражданах. Черноморцы настаивали, чтобы признать таковыми только казаков, линейцы — всех насельников Области, живших в ней до начала великой войны; принято было большинством считать полноправными, кроме казаков, также и живших в городах до войны их постоянных насельников, а из сельского населения тех, которые располагали земельными участками в Области на правах общинного или частного владения и земельных товариществ.

В связи с этим расширением круга равноправных граждан было принято именовать Кубанскую область Кубанским краем, Войсковое правительство — Краевым правительством и самое Войсковую Раду — Краевой Радой.

Нужно сказать, что крестьянские общества на предложение включиться в число равноправных краевых граждан ответили не сразу и не все: в данный момент состоять в "казаках" перестало быть заманчивым.

Вопрос о компетенции краевых органов в их взаимоотношениях с органами общегосударственными был, пожалуй, на этой Раде самым боевым, спорили много и горячо, в итоге Рада приняла формулу автономного управления краем с комиссаром Временного правительства при нем в качестве наблюдателя и передаточной инстанции между центральной и краевой властями, — по существу, принималась уже установившаяся к этому времени практика последних дней. К тому же Рада принимала теперь лишь "Временные положения" об управлении краем, будучи убеждена, что соберется всероссийское Учредительное собрание и выскажется об окончательном государственном строе в России, и тогда все может быть пересмотрено. Что Рада в это время стояла на позиции единства России, свидетельствует, между прочим, то, с каким единодушием она от

неслась к вопросу о скорейшем созыве Учредительного собрания. На последнем своем собрании она наметила и свой список кандидатов в Учредительное собрание.

Краевой Раде предстояло выбрать Войскового атамана и членов Законодательной Рады. Последние были избраны на собраниях членов Рады от семи отделов, но атамана предстояло выбрать закрытой баллотировкой шарами в общем заседании Рады.

Было намечено два главных кандидата: К. Л. Бардиж и А. П. Филимонов. Перед баллотировкой кандидатуры подверглись обсуждению. За кандидатуру Бардижа первым высказался Н. С. Рябовол и затем другие члены украинской ориентации. Таким образом, он являлся как бы их партийным кандидатом, что, пожалуй, и послужило причиной его провала, а Филимонов восторжествовал, хотя горячих сторонников у него почти и не было.

11 октября был вновь избран, таким образом, первый Кубанский атаман после многих десятилетий отмены этой доброй казачьей традиции. Рада устроила в его честь особое торжественное собрание, выслушала его вступительное слово. На площади войскового собора, после торжественного молебствия, ему была вручена атаманская булава, которую держали некогда в своих руках выборные атаманы, как последний его предшественник З. А. Чепига. По древнему запорожскому обычаю старейший член Рады (Ф. А. Щербина) посыпал голову избранника, как это было в Запорожской Сечи, дорожной пылью; в знак единства все члены Рады сфотографировались одной группой с Войсковым атаманом в центре — так хотелось демонстрировать это единство. Но к концу сессии Рады было весьма относительное единство. Обострение групповых отношений между членами Рады временами достигало большого напряжения. Однажды дело дошло до того, что члены Рады линейских отделов — Лабинского, Майкопского и Баталпашинского — собрались отдельно и воздерживались идти на общее собрание. Перед оставшимися в Зимнем театре встал призрак возможного раскола Войска. В конечном итоге все обернулось лишь демонстрацией, но многих она заставила задуматься. А общая обстановка в государстве Российском становилась тогда все более грозной.

Открытие вновь избранной Законодательной Рады было назначено на начало ноября, когда она должна была составить новое краевое правительство. До того времени оставлялось прежнее Войсковое правительство, то есть А. П. Филимонов, Макаренко И. Л. и пр.

25 октября. Известие о перевороте в центре, как ни странно, не произвело в Екатеринодаре ошеломляющего впечатления. Рассуждали: нарыв прорвался, ход событий приведет к благополучному разрешению кризиса. Большевиков прогонят, придут более энергичные, чем были до сих пор, люди и направят государственный корабль на надлежащий путь.

Ни у кого не возникало мысли о допустимости лояльных отношений с Совнаркомом, но и об организации борьбы не было разговора. Войсковое правительство доживало свои последние дни, чтобы замениться уже Краевым правительством.

Пришел ноябрь. Собралась Законодательная Рада. Сначала, не спеша, сама сконструировалась, составив коалиционный президиум: Рябовол (черноморец) — председатель, Рябцев (линеец) — секретарь, Султан-Шахим-Гирей (горец) — товарищ председателя.

Затем Рада занялась составлением правительства.

Рябовол и его близкие выдвинули на пост председателя нового человека — Быча Л. Л. Знавшие его разъяснили: человек с законченным высшим образованием, большой стаж общественной работы, бывший голова города Баку, главноуполномоченный по продовольствию Кавказского фронта, политически принадлежит к умеренной социалистической группировке плехановцев, а главное, человек уже почтенного возраста, чего нам всем недоставало.

Оспаривать у Быча председательское кресло стал не кто другой, как Иван Леонтьевич Макаренко, и сам же выступил за себя с агитационной речью, — как всегда, говорил длинно и малосвязно: о тяжелых переживаниях края, о тягостном положении государства Российского, о том, что испытания еще впереди, что власть должна находиться в руках людей дальновидных и преданных общественному служению, что такие люди не имеют права уклоняться от ответственных поручений, а потому и он, Макаренко, не может уклоняться от службы краю. Его, конечно, провалили с треском. Быча выбрали хорошим большинством. Быч — черноморец, в противовес ему мы провели в члены правительства по народному просвещению Ф. С. Сушкова — линейца.

На коалиционных основаниях составилось новое правительство. Исполнять обязанности члена правительства по внутренним делам стал бывший комиссар Временного правительства К. Л. Бардиж, по делам юстиции — престарелый видный кавказский судебный деятель Паша-бек-Султанов, очень милый старик. Членом прави-

тельства по военным делам избрали по рекомендации фронтовиков-казаков Кавказского фронта полковника генерального штаба Н. М. Успенского, очень долго не имевшего возможности прибыть с фронта из Персии на Кубань.

Коллегиальный войсковой контроль теперь был упразднен.

Была учреждена должность единоличного краевого контролера, независимого от краевого правительства, но с правом участия в заседаниях правительства с решающим голосом. Контролером избрали меня. Макаренко и молодого Бардижа избрали членами правительства от Кубани в Юго-Восточный Союз.

Атаман Донского Войска всенародно объявил (28 октября) о принятии на себя прерогатив государственной власти в Области, сделав, таким образом, вывод из непризнания образовавшегося в центре государства Совнаркома.

Этот Совнарком не был признан и на Кубани. Но лишенный по конституции какой-либо самостоятельности атаман Филимонов избежал выступить с подобным заявлением; не сочло возможным для себя делать подобное заявление и краевое правительство. Таким образом, вынужденные фактически приступить к работе по типу полной самостоятельности ведомства Кубанского краевого правительства и контроля по существу не имели на это легального титула.

Но вопрос заключался не только в легализации. Доходившие известия из центра о петроградском и московском опыте утверждения новой власти посредством пушек и пулеметов никаких иллюзий уже не оставляли. Нужно было, следовательно, и самим думать об организации неизбежной борьбы.

И вот в стремлении добыть себе легальный титул, получить определенный мандат на борьбу краевое правительство почти непосредственно за своим образованием решило вновь созвать краевую Раду, лишь месяц тому назад распущенную.

Размер бедствия, которое накатилось на край, был теперь уже стихийного значения. Лавиной шел поток демобилизующихся воинов кавказского фронта, забивал железнодорожные станции и расползался по селам, городам и станицам. Среди даже своих иногородних казачье начало становилось враждебным, а жажда реванша со стороны горячих голов группы "иногородних" толкала их искать поддержки вне казачьих большевистских сил. Именно в этот момент вышло от какой-то части иногородних обращение к 39-й дивизии Кавказского фронта с просьбой поддержать на Кубани иногородних против казаков.

Для организации так называемых казачьих заслонов, о которых так много кричали все лето и осень, ничего не было сделано правительством Макаренко. Казачьи части, начавшие приходить последними с демобилизующегося фронта, отказывались организовать эти заслоны. Делала свое дело всеобщая усталость от войны. Кроме того, фронтовики заявляли:

— На фронте мы с солдатами делились последним сухарем, — как же теперь мы будем с ними воевать?

Это был суровый приговор нашим ура-казакам, но их участь теперь должно было разделить все казачество.

Казаки-фронтовики усвоили себе такую практику. С фронта они приходили своими частями и с оружием. В Екатеринодаре в Войсковом штабе им производили полный расчет за недополученное содержание по различным частям военного обихода, и затем с индивидуальным оружием они рассыпались по станицам и хуторам. А там через какой-то промежуток времени организованно вооруженные большевистские группы под угрозой расстрела заставляли их сдавать и индивидуальное оружие

Председатель Л. Л. Быч скоро, видимо, понял, какую большую ошибку сделали его предшественники, так неосторожно обращавшиеся с принципом внутреннего гражданского мира в крае. Сам Быч уже принял в свое правительство неказака Ф. С. Леонтовича, бывшего городского голову г. Новороссийска. Быч попробовал привлечь еще одного иногороднего в правительство — доктора Долгополова, но этот, поставив свое согласие войти в правительство в зависимость от согласия на это своих однопартийцев-эсеров, потом отклонил предложение. Попытка бесшумно перелицеваться частично в общий казаче-иногородний цвет не удалась. Значит, нужно особо договариваться.

Законодательная Рада избрала для переговоров с иногородними комиссию, в которую были посланы: К. Л. Бардиж, Д. А. Филимонов (однофамилец атамана) и я, от горцев — Султан-Шахим-Гирей.

В Екатеринодаре как раз в это время проходил Съезд иногородних, созванный для установления отношений иногородних к октябрьским постановлениям краевой Рады. Уже приглашение на Съезд сопровождалось упреками по адресу Рады, что она, "несмотря на пожелание Войскового Совета ввести на Кубани бессословное земство, даже не нашла нужным рассмотреть проект такого земства", а "самочинно провозгласила федерацию" с управлением "на представительстве лишь коренного населения", и т. д. Бардижу и мне было

поручено переговорить с деятелями Съезда о желательности присылки уполномоченных от Съезда в нашу комиссию. На Съезде иногородних тогда уже фигурировала своя большевистская фракция, пока в небольшом числе, она будоражила Съезд, но порождала зато желание у благоразумной части Съезда поскорее изжить распрю с казаками. Поэтому наша с Бардижем миссия вполне удалась, и от Съезда были присланы в нашу комиссию Турутин, доктор И. П. Покровский и рабочий Морозов. Я был избран председателем комиссии, успеху ее дела много способствовал К. Л. Бардиж.

Комиссией были выработаны следующие основания соглашения:

I. Население Кубани, впредь до издания всероссийским Учредительным собранием основных законов для государства Российского, создает органы местного самоуправления и управления как в пределах края, так и в пределах организующегося Юго-Востока России — самостоятельно.

II. Безотлагательно создаются бессословные органы местного самоуправления на демократических началах, но с одногодичным цензом оседлости для приобретения активного избирательного права.

III. До введения постоянного положения о самоуправлении состав станичной администрации и станичных сборов обновляется привлечением в них представителей от иногороднего населения на пропорциональных началах, но не больше половины общего состава.

Однако для большинства Законодательной Рады однолетний ценз оседлости оказался неприемлемым, и она отказалась утвердить положения нашей комиссии.

Возражения против короткого ценза оседлости мотивировались в Раде тем, что на Кубань в годы войны, ввиду особо льготных условий мобилизации здесь неказачьего населения, прибыло много полулегальных дезертиров, которые, будучи ничем не связанными с краем, могут оказаться нежелательным бременем при организации краевого самоуправления. Большинство Рады предлагало трехгодичный ценз оседлости, но иногородние его не приняли, и мы, казаки в комиссии, попросили отложить окончательное решение о цензе до доклада нами этого вопроса Краевой Раде, созываемой на начало декабря.

Краевая Рада собралась. Обстановка на ней обнаружилась другая, чем была в октябрьско-ноябрьскую сессию. Обыкновенно на ней члены ее составляли семь фракций по числу семи отделов (административных единиц края) и плюс к ним восьмая — горская (национальная) фракция. А в этой же Раде образовалась еще девятая фракция — энергичная, шумливая — фракция фронтовиков, руководящим ядром которых обнаружилась группа уполномоченных казачьих частей на один из прифронтовых съездов и принятая здесь на Раде как представительница молодого фронтового казачества. В качестве лидера ее оказался молодой, энергичный (таким он тогда казался) полковник Роговец.

Эти фронтовики определенно высказывались за установление добрых отношений с иногородними. Мотив тот же: "На фронте с солдатами мы делились последним сухарем", — была их обычная реплика. Но они шли дальше: в их критике краевых учреждений слышались нотки из "Окопной правды". В возражение им их спрашивали:

— С какими солдатами вы делились сухарем? Не с теми ли, что пошли за Лениным и Троцким?!

На это следовал уклончивый ответ:

— Со всей Россией воевать все равно не будешь... Сил не хватит.

— Но с кем вся Россия? Ленин и Троцкий ее мнения не спрашивали... За анархию ли вся Россия? Или она с теми, кто хочет упрочения в ней народного, демократического строя?..

Споры, сомнения, колебания двух сторон сталкивались, переплетались в Раде и заводили в тупики.

Отцы и дети в течение нескольких дней не могли установить общего языка.

Тогда отцы — Войсковой атаман, Краевое правительство и краевой контролер — заявили в Раде о сложении своих полномочий ввиду явной оппозиции фронтовиков и в то же время неясности их требований.

— Только берите власть из наших рук вы, кубанцы, а не бросайте ее на ветер большевистской демагогии, — говорилось фронтовикам.

В большой тревоге прошел объявленный перерыв в занятиях Рады.

Позади скамей в пустопорожней части просторного театрального зала, где происходили заседания Рады, собрались фронтовики на фракционное совещание.

Через час, а может быть, и больше они всей гурьбой направились к эстраде, и когда по их требованию председатель открыл собрание, полковник Роговец произнес с большим подъемом речь, в которой говорил о любви фронтовой молодежи к казачеству, о любви к родному краю и к России, о готовности фронтовиков на дальнейшие жертвы и, наконец, о том, что отцы неправильно поняли детей и... дети просят атамана и

других носителей власти взять обратно свой отказ.

Прервав речь, Роговец повернулся к фронтовикам и затянул тогда еще мало известную на Кубани песню, созданную казаками именно на Кавказском фронте:

— Ты, Кубань, ты наша Родина,
Вековой наш богатырь!..

Широкая гармония песни, воодушевление, с каким пели ее фронтовики, захватили всех. По морщинам многих стариков — отцов — текли слезы...

Внутренний кризис среди собравшихся в Раде "отцов и детей", таким образом, разрешился.

Среди волнений и бурь в Кубанской Раде пришло известие о гибели Терского атамана Караулова при прохождении по Ростово-Владикавказской железной дороге эшелонов 39-й дивизии. Она шла в полном вооружении с готовностью выполнять решения 2-го Съезда солдат Кавказского фронта в казачьи области для "борьбы с контрреволюцией" атаманов Каледина и Филимонова... При дивизии — революционный комитет с заданием устанавливать советский строй...

В это время в самом Екатеринодаре на Сенном базаре был убит казачий офицер.

По приказу Краевого правительства был обезоружен артиллерийский дивизион — сосредоточение и надежда местных большевиков. Большевистская фракция на Съезде иногородних подняла было вопрос о насилии над "борцами революции".

Я был в этот момент на этом заседании Съезда в качестве уполномоченного Рады для переговоров о соглашении. Сохранилась в памяти отвратительная сцена неподражаемого двуличия вожака большевистской фракции на съезде Полуяна, выступившего с предложением протестовать против разоружения артиллеристов. Визгливым голосом Полуян требовал "отмщения за поруганную свободу и за пролитую кровь".

Председатель собрания прапорщик Прокофьев, явно не выдержав лицемерия, резко прервал оратора:

— Товарищ Полуян, посмотрите на свои руки!.. Они у вас в крови!

Полуян в действительности посмотрел на свои руки. Многолюдное собрание, исключая небольшую кучку друзей Полуяна, шумно одобрило возглас председателя Прокофьева, а Полуян побитой собакой сбежал с кафедры.

По основному вопросу о направлении деятельности краевой власти Рада единодушно приняла идею борьбы с большевизмом и большевиками. В этом направлении были даны радой указания и полномочия Краевому правительству.

Было утверждено положение о соглашении с иногородними на началах паритетного представительства в Раде: 46 казачьих представителей и 46 неказаков и 8 горцев в Законодательной Раде; в правительстве тоже равное число: 5 казаков и 5 другой группы с сохранением также от национальной группы горцев одного представителя. Войсковым атаманом и председателем правительства должен быть непременно казак. Срок оседлости в крае для приобретения полноты гражданских прав определен был в два года. Эти общие решения принимались на совместных общих собраниях Рады и Съезда иногородних с 13 по 21 декабря.

20 декабря Краевая Рада утвердила политическую программу Кубанского казачества и горцев и, таким образом, формулировала цели борьбы.

Программа разбивалась на обычные отделы таких документов: об основных правах граждан, о государственном устройстве, о местном самоуправлении, аграрном и рабочем вопросах, финансах, просвещении.

Местной особенностью было подробно разработанное положение о военной службе казаков.

В основном по этой программе наиболее совершенной формой бытия российского государства признавалась (как и раньше) Российская Демократическая Федеративная Республика как "единое государство" из "крепко спаянных между собою "федерирующихся областей", Кубанский край один из "равноправных ее штатов".

Воинская повинность должна быть всеобщей, равной и обязательной для всего мужского населения Российской республики и основана на принципах "национальном и территориальном". "Казаки отбывают службу в казачьих частях, с казачьим составом офицеров и сведенных в чисто казачьи бригады, дивизии и корпуса, и должны отбывать службу на собственной территории", находясь в подчинении у своих Войсковых атаманов. На них ни в коем случае не возлагается "полицейская служба", "лишь при исключительных обстоятельствах, грозящих существованию или спокойствию государства", казачьи части "совместно с другими войсками Российской Армии" могут быть привлекаемы для службы, "но не иначе, как с разрешения своего Войскового правительства".

В аграрной части этой программы значилось:

"Все земли Российской Республики должны быть бесплатно переданы трудовому населению".

Исходя же из федеративного принципа и древнеказачьей "обыкновенности", "все земли Ку-

банского Войска, леса, рыболовные воды... и прочие угодья со всеми недрами, как историческое достояние Кубанского Войска, составляют неотъемлемую собственность Кубанского Войска" и оно распоряжается ими "самостоятельно и независимо".

Рабочий вопрос излагался в обычной формулировке рабочих партий, как и остальные обычные программные вопросы.

Но трудно было казачьей программе тягаться с большевистскими посулами.

В их воззваниях к казачеству были собраны все крайние пожелания, о которых могли бы только подумать казаки, все льготы по военной службе, бесплатная передача лошадей и пр. Все казачье руководство объявлялось подверженным сословным влияниям. Приводились астрономические цифры о собственных землях у Каледина, Филимонова, Быча и др.

Декабрьская Рада закончила свои работы накануне Рождества. В другое время можно было бы признать очень значительными результаты ее работы. Но мрачная обстановка краевой действительности снижала значительность этой работы. О некоторых частях ее (и о некоторых деятелях, производящих ее теперь) приходилось пожалеть — почему бы не сделать всего этого раньше. Насколько результаты были бы куда выше!

Перед святками были спиртные бунты в таких неспокойных местах, как хутор Романовский. На казенных складах за время сухого режима в период войны накопилось много неиспользованного спирта, содержимого в огромных бассейнах. Сюда устремились толпы своевольной солдатни и подонков улицы. Были случаи, когда пьяные тонули в спирте. Неосторожное обращение с огнем вызвало пожар. Погибло многомиллионное государственное достояние и были человеческие жертвы.

Состояние почти всех населенных пунктов городского типа требовало для поддержания порядка особой воинской силы, но ее-то как раз и не было.

Начал заявлять о себе район станции Гулькевичи, где сказывалась близость организующего большевистского центра в Армавире и куда уже достигли части упомянутой 39-й дивизии.

В Екатеринодаре сколачивание стойких воинских частей не налаживалось. Удручающей вялостью отличался назначенный командующим войсками генерал Ч-й.

Между екатеринодарским правительственным центром и отдельными населенными пунктами образовались как бы провалы с неведомо как организованной общественно-политической жизнью. В лучшем случае можно было допустить для этих провалов наличие нейтральности к краевой власти, чаще это было начало образования враждебного очага.

Агентурным путем стало известно, что местные екатеринодарские большевики готовятся использовать благоприятную обстановку и на Рождественских святках открыто выступить в самом Екатеринодаре.

Продолжение следует

Семен Франк

КРУШЕНИЕ КУМИРОВ*

3. КУМИР КУЛЬТУРЫ

Кумир "революции" и кумир "политики вообще" рухнули в нашей душе преимущественно под впечатлением опыта русской революции. Но есть еще другой кумир, в каком-то смысле родственный им и с ними связанный, который тоже потерпел крушение или по крайней мере пошатнулся под влиянием, главным образом, иного опыта — опыта, так сказать, всеевропейского — под впечатлением мировой войны и послевоенного духовно-общественного состояния мира. Этот кумир мы назовем несколько неопределенным именем "**кумира культуры**". Прежде чем систематически анализировать, в чем он заключался, и обосновать характер его крушения, постараемся и здесь непритязательно и правдиво воспроизвести наш непосредственный духовный опыт.

В довоенное время, в то столь недавнее и столь далекое уже от нас время, которое кажется теперь каким-то невозвратным золотым веком, все мы верили в "культуру" и в культурное развитие человечества. Нет надобности здесь давать логически точное определение этого, довольно туманного, идеала: достаточно конкретно очертить духовную настроенность, выражавшуюся в вере в него. Нам казалось, что в мире царит "прогресс", постепенное и непрерывное нравственное и умственное совершенствование человечества, неразрывно связанное с таким же совершенствованием его материальной и правовой жизни. Мы восхищались культурой Европы и скорбели о культурной отсталости России. В Европе мы во всем усматривали признаки "культуры". Конечно, мы не закрывали глаз и на темные стороны европейской жизни — мы замечали в ней и эгоизм, и мелочность, и мещанскую пошлость, и ограниченность, и обилие "буржуазных предрассудков", и жестокость репрессий в отношении нарушителей буржуазного права и морали, и слепой и хищнический национализм. Но в большинстве случаев нам казалось, что эти темные стороны суть еще непреодоленные остатки прошлого, которые сами собой постепенно будут устранены дальнейшим развитием культуры; в этом смысле большинство русских и сочувствовало европейским социалистам, как самой передовой партии, которая борется с остатками "феодальных" нравов и стремится к устранению неправды и ограниченности буржуазного строя. Во всяком случае, основной фундамент культуры и мирной гражданственности казался незыблемо заложенным в Европе, и мы мечтали, что Россия скоро войдет как равноправный член в мирную, духовно и материально благоустроенную семью культурных народов Европы. Варварская эпоха смут, международных и гражданских войн, нищеты и бесправия казалась, во всяком случае, отошедшей в безвозвратное прошлое, окончательно преодоленной гуманитарным развитием нового времени.

Поэтому, когда разразилась великая европейская война, она оказалась для большинства русских образованных людей совершенной неожиданностью, так что еще за несколько дней до ее начала, когда все ее симптомы были уже налицо, почти никто не верил в ее возможность. Когда она стала уже совершившимся фактом, она еще продолжала казаться каким-то великим недоразумением, какой-то несчастной случайностью, результатом преступной воли кучки милитаристически настроенных правителей Германии. Никто еще не мог поверить в длительность, жестокость и разрушительный характер этой войны; она казалась не естественным результатом и выражением духовно-общественного состояния Европы и не великим историческим событием, знаменующим новую эпоху, а случайным эпизодом, болезненным, но кратким перерывом нормального культурного развития.

Когда война затянулась на годы и обнаружила и чудовищность своих опустошений, и жестокость своих средств, и отчаянное, смертельное упорство воюющих сторон, отношение к ней стало понемногу меняться; тогда каждой из воюющих сторон — в том числе и нам, русским, — стало казаться, что вернуться к нормальной культурной жизни можно только, уничтожив врага,

*Продолжение. Начало в № 3, 4.

окончательно устранив самый источник войны. Война была объявлена последней войной, направленной на прекращение всяких войн, на окончательное установление мирных и честных демократически-правовых начал и в отношениях между народами. Когда разразилась русская революция — столь желанная для большинства русских с точки зрения их идеала внутренней политики — и за ней последовало массовое дезертирство и самовольная ликвидация войны, большинство русских снова с патриотической горечью ощутило, что Россия еще не доросла до гражданской зрелости Европы, что она сама себя вычеркнула из состава европейских государств, борющихся за свое существование и свою культуру. Большевизм и анархия казались злочастным уделом одной только отсталой России, которая, в отличие от Европы, никак не может наладить своей жизни.

И тут неожиданно грянула германская революция, и многие сразу же, хотя и смутно, почувствовали, что — при всем различии и внешнего, и внутреннего положения России и Германии — их постигла какая-то общая судьба, что мировая война завершается какой-то мировой смутой. Потом последовал Версальский мир, показавший, что правда и справедливость в международных отношениях — пустые слова и что все зло войны, прекратившейся на полях битв, закреплено на неопределенно долгое время мирным договором, что взаимная ненависть, озлобление, страх перед врагом, беспощадная эксплуатация слабых есть нормальное, естественное состояние европейской международной жизни; и то же обнаружилось в своекорыстном и лицемерном отношении бывших союзников к русскому несчастью. А затем стало очевидным, что в этой войне вообще нет победителей, что общечеловеческая бойня, истребившая миллионы людей и разорившая всех, кроме отдельных хищников и мародеров, кончилась безрезультатно, не искуплена ничьим счастьем и успехом. Все державы, хоть и не в одинаковой мере, истощены и ослаблены, все подавлены и внутренними раздорами и неупорядоченностью внешних отношений; большинство победителей не знают, что делать с своей победой, и стараются — тщетно — сами загладить ее печальные последствия; другие в ослеплении губят сами себя и становятся предметом общей ненависти своим желанием во что бы то ни стало добить побежденных. Во внутренней политике на очередь дня становятся злобно-бессмысленные политические убийства — по большей части честных людей, отдающих себе отчет в ужасе положения и старающихся найти выход из него. В частной хозяйственной жизни господствует всеобщий упадок трудолюбия и производительности труда, жажда легкой наживы, спекуляция на народном бедствии; пресловутая немецкая честность и деловитость, казалось, глубоко укорененные многовековым культурным развитием, сметены вихрем, точно внешние одеяния, не имеющие никакой собственной опоры в личности. И несчастная, растерзанная коммунистическими экспериментами, угнетаемая большевистским деспотизмом Россия оказывается не слабейшей и не беднейшей из европейских стран; носители европейской культуры, проповедники права и свободы заигрывают с людьми, возглавляющими неслыханную в Европе систему, презрительно определенную как "азиатский социализм", и идут на соглашение с ними ради материальных выгод или ради умиротворения своих собственных народных масс, в значительной мере симпатизирующих этому азиатскому социализму. Если русским коммунистам и не удалось перебросить в Европу зажженный ими "мировой пожар", то нельзя отрицать, что и Европа чадит и тлеет и не может затушить это подземное горение; и кто знает, не вспыхнет еще в том или ином ее месте этот подземный пожар ярким пламенем анархии и гражданской войны?

И среди этого всеобщего смятения и маразма как мало признаков духовного осмысления жизни и стремления к подлинному духовному возрождению! Когда теперь мы, русские, материально и духовно обнищавшие, все потерявшие в жизни, ищем поучения и осмысления у вождей европейской мысли, у которых большинство из нас привыкло раньше учиться, мы, заранее склонные к смирению, всегда чуждые национального самомнения и менее всего способные на него в эту несчастную для нас эпоху, с изумлением узнаем, что, собственно, учиться нам не у кого и нечему и что даже, наученные более горьким опытом наших несчастий, испив до конца чашу страданий, мы, пожалуй, сами можем научить кое-чему полезному человечество. Мы по крайней мере уже тем опередили его, что у нас меньше осталось иллюзий и призрачных верований. Мы чувствуем себя среди европейцев, как Сократ среди своих соотечественников, у которых он хотел чему-нибудь научиться, пока не признал, что он — мудрее всех, потому что он, ничего не зная, по крайней мере, отдает себе отчет в своем неведении, тогда как все остальные, ничего не зная, не знают даже своей собственной духовной нищеты!

Мы изобразили резкими, схематическими штрихами процесс падения веры в европейскую культуру, подчеркнув отдельные сильные толчки, исходившие от крупных внешних событий и один за другим расшатавшие эту веру. В действительности, конечно, процесс этот гораздо сложнее; он совершался более постепенно и неприметно, будучи результатом накопления множества разнородных и сильных, и бесконечно малых впечатлений. И эти впечатления были только поводами для него, как все глубокие духовные и жизненные перемены, он осуществлялся спонтанно, шел из каких-то невидимых глубин души и в точности психологически необъясним. Что-то умерло в нашей душе; былой жар, былые восторги испарились, и мы с трудом вспоминаем о них; мы состарились и духовно охладели и сами не знаем, как это случилось. Мы идем по красивым, удобным, благоустроенным улицам европейских столиц, которыми мы прежде восторгались, и не понимаем, что в них хорошего: ровная плоскость асфальта, однообразные высокие дома пошлой архитектуры; гудят и мчатся автомобили, развозя праздных жуиров, жадных спекулянтов или озабоченных, духовно пустых "деловых людей"; внутри домов — десятки и сотни одинаковых квартир мещанского уклада, в которых копошится разбитый на семейные ячейки людской муравейник — чему тут радоваться? Тоска, тоска беспросветная! Мы видим кучера или шофера, читающего газету на своем сиденьи, в какой восторг перед его просвещенностью и политической сознательностью мы приходили раньше при том зрелище! Теперь мы равнодушно проходим мимо, а если живем в Германии, то злобно думаем: "наверно, тоже играет на бирже", и уверены, что теперь мы оцениваем это явление правильнее, чем прежде. Где трепет, с которым мы когда-то всходили на галереи европейских парламентов и прислушивались к страстным, вдохновенным речам политических ораторов? Едва ли мы читаем внимательно эти речи и в газетах, а если и пробежим глазами, то с равнодушием и скукой; мы заранее знаем их содержание: либо безответственная демагогия, либо официально-лицемерное провозглашение каких-либо священных принципов, в которые никто не верит и которые никогда не осуществляются, оправдание какого-нибудь зла под тем или иным высоким предлогом, либо, наконец, сознание своего бессилия и безвыходности положения; от всей текущей политики на нас уже заранее веет или человеческой глупостью, или человеческой подлостью, или тем и другим вместе — и во всяком случае — пошлостью, унынием, безнадежностью серых будней. Где благородные, бесстрашные, горящие верой в добро и человечность вожди передовой демократии и социализма, изобличители зла, апостолы социальной правды, защитники угнетенных — или они только казались нам такими? Если такие и были когда-то, то они или умерли, или выродились. Когда европейские коммунисты громят теперь в своих речах и статьях лицемерие и неправду буржуазного общества, то по крайней мере нас, русских, они уже теперь не проведут: сколько бы объективной правды ни было в их словах, мы-то знаем, к чему они клонят и каков их подлинный умысел; в этих мнимых апостолах правды и добра мы с полной, абсолютной явственностью видим бесстыдных или в лучшем случае соблазненных служителей сатаны, духа насилий и убийств, лжи и нравственного разложения, дикого произвола и животной тупости. А умеренные социалисты или вожди демократии — все эти Клемансо, Ллойд-Джорджи, Вандервельде, Вивиани, Шейдеманы и как их всех зовут — и правительствующие, и оппозиционные? У них ничего не осталось, кроме пустых лозунгов, в которые никто не верит, в том числе и они сами. Если они стоят у власти, то они прикрывают шумом громких слов какие-нибудь злые или глупые дела, или в лучшем случае свою бездейственность и свое бессилие; если они — в оппозиции, то в ней нет ничего принципиального, ясного, идейного. И все они только убаюкивают народные массы теми самыми — ныне пустыми и лицемерными — словами, которыми они когда-то старались разжечь политические страсти, боясь признаться, что в этих словах нет уже больше никакого осмысленного содержания и вдохновляющей идеи. Лучшее, что они способны сделать, — это удерживать европейское общество в его состоянии неустойчивого равновесия и не дать ему совсем опрокинуться, применять паллиативные средства, чтобы духовное и общественное разложение не шло слишком быстро и чтобы тление не превратилось в пожар. Социалистическая вера духовно умерла, частью разоблачённая неслыханным злом коммунизма, частью обессилевшая и потонувшая в болоте буржуазной обыденщины и пошлости. А демократические идеалы? Может быть, их еще можно или даже нужно признавать отвлеченно, может быть, политическая мысль и не додумалась ни до чего лучшего, но верить в них и поклоняться им уже больше невозможно. Просвещенная демократическая Европа, после веков культурного развития дошедшая до безумной всеевропейской бойни, священные принципы Вильсоновских "пунктов" — и Версальский мир, ими оправданный, всеобщее избирательное право — и глупость, бездарность и бессилие парламентов и правительств, из них исходящих, и многие другие аналогичные контрасты, — все это испытания, которых не выдерживает живая вера.

Нас радует больше и прогресс науки, и связанное с ним развитие техники. Путешествия по воздуху, этот птичий полет, о котором человечество мечтало веками, стали уже почти будничным, обычным способом передвижения. Но для чего это нужно, если не знаешь, куда и зачем лететь, если на всем свете царят та же скука, безысходная духовная слабость и бессодержательность? А когда подумаешь, что единственным реальным результатом этого развития воздушных сообщений является возможность превратить войну в быстрое и беспощадное убийство населения целых стран, в кошмарно-апокалипсическое истребление европейского человечества огнем с неба, то трудно духовно увлечься его успехами и разве

только в припадке безумного отчаяния можно злорадно усмехнуться сатанинской мечте о самоутверждении гибнущей Европы. Общее развитие промышленной техники, накопление богатства, усовершенствование внешних условий жизни — все это вещи неплохие и, конечно, нужны, но нет ли во всем этом какой-то безнадежности работы над сизифовым камнем, раз неудержимое влечение к промышленно-торговому развитию привело через войну ко всеобщему разорению и обнищанию? Возможна ли сейчас та юная, наивная вера, с которою работали над накоплением богатства и развитием производства целые поколения людей, видевшие в этом средство к достижению какой-то радостной, последней цели? И нужно ли, в самом деле, для человеческого счастья это безграничное накопление, это превращение человека в раба вещей, машин, телефонов и всяческих иных мертвых средств его собственной деятельности? У нас нет ответа на эти вопросы; но у нас есть сомнения и недоверие, которых мы прежде не знали.

А духовные ценности европейской культуры, чистые и самодовлеющие блага искусства, науки и нравственной жизни? Но и на все это мы невольно смотрим теперь иным скептическим взором. О нравственной жизни мы не будем здесь говорить — это особая и особенно тяжкая тема, о ней речь впереди. Здесь достаточно сказать, что мы как-то за это время утеряли веру именно в самое наличие нравственной жизни, нравственных устоев культурного человечества; все это именно и оказалось неизмеримо более шатким, двусмысленным, призрачным, чем оно казалось раньше. В искусстве самое великое мы видим в прошлом, современность же — не будем произносить никаких приговоров ей, претендующих на объективность и обоснованность, — но в ней нет художественного движения, способного захватить и окрылить нас, скрасить тоску нашей будничной жизни и давать нам радостные слезы умиления перед истинной вечной красотой. А вместе с тем после пережитых испытаний произошел какой-то душевный сдвиг, в силу которого для нас потускнело многое из прошлого. Всякая лирика и романтика в живописи, поэзии и музыке, всякая субъективная утонченность, экзальтированность, изысканность и идеалистическая туманность, в которых еще так недавно мы находили утеху, не только не радует, но раздражает нас и претит нам: мы ищем — и не находим — чего-то простого, существенного, бесспорного и в искусстве, какого-то хлеба насущного, по которому мы духовно изголодались. А наука? Но и наука перестала для нас быть кумиром. Толстые ученые книги, плоды изумительного прилежания и безграничной осведомленности, всякие научные школы и методы не внушают прежнего почтения и как-то ненужны нам теперь. Яснее прежнего мы видим, сколько ограниченности, бездарности, рутинерства, словесных понятий, лишенных реального содержания, скрыто в этом накопленном запасе книжного знания и как мало, в конце концов, в большинстве "научных" произведений свежей мысли, ясных и глубоких прозрений. И иногда кажется, что вся так называемая "наука", к которой мы также раньше относились с благоговением неофитов и ученическим рвением, есть только искусственный способ дрессировки бездарностей, что настоящие умные и живые мыслители всегда выходят за пределы "научности", дают нам духовную пищу именно потому, что ничего не изучают и никак не рассуждают, а видят что-то новое и важное, и что этому не может научить никакая наука, — или же, что в этом и состоит единственная подлинная наука, которой еще так мало в том, что слывет под именем науки.

Все эти мысли и оценки суть не разработанные, обоснованные теории и объективные приговоры о состоянии современной европейской жизни. Кто из нас может быть беспристрастным судьей этого смутного времени, которое само перестало понимать себя? Те, кто накопившееся в душе раздражение против всего зла современной европейской жизни или презрение к ее убожеству и смутности, а также естественно нарастающее в душе изгнанников мучительно-острое чувство любви к несчастной родине и веру в ее будущее превращают в стройную и систематическую теорию гибели европейской культуры и нарождения новой, русской, "евразийской" культуры, — не могут рассчитывать на общее признание, на исцеление нас новой, вдохновляющей и убедительной верой. Мы склонны видеть в этой теории не объективного судью нашего безвременья, а скорее его болезненный результат; душа наша не может жить той узостью, тем обилием ненависти и презрения, тем горделивым осуждением чужого и превознесением себя самих, которыми веет от этой теории и в которых она видит исход из кризиса. Нет, наши мысли и оценки мы выдаем лишь за то, что они есть на самом деле, — за выражение наших непосредственных чувств, за реальный факт нашей духовной жизни. Но в качестве такого факта — это мы знаем и утверждаем с полной достоверностью — они — не случайность, определены не поверхностным настроением, не индивидуальным капризом; они глубоко укоренены в нашей душе, в душе преобладающего большинства мыслящих русских людей, отложившись в ней в результате какого-то огромного, стихийного, неотменимого и непоправимого геологического переворота духа.

Если мы попытаемся теперь систематизировать эти впечатления и оценки и хоть до некоторой степени подвести им объективный, обоснованный итог, то мы можем выразить его, как мне кажется, в двух основных положениях. *Во-первых*, мы потеряли веру в "прогресс" и считаем прогресс понятием ложным, туманным и произвольным. Человечество вообще, и европейское человечество в частности, вовсе не беспрерывно совершенствуется, не идет неуклонно по какому-то ровному и прямому пути к осуществлению добра и правды. Напротив, оно блуждает без предуказанного пути, подымаясь на высоты и снова падая с них в бездны, и каждая эпоха живет какой-то верой, ложность или односторонность которой потом изобличается. И в частности, тот переход от "средневековья" к нашему времени, то "новое время", которое тянется уже несколько веков и которое раньше представлялось в особой мере бесспорным совершенствованием человечества, освобождением его от интеллектуальной и общедуховной тьмы и узости прошлого, расширением внешнего и внутреннего кругозора его жизни, увеличением его могущества, освобождением личности, накоплением не только материальных, но и духовных богатств и ценностей, повышением нравственного уровня его жизни, — это "новое время" изобличено теперь в нашем сознании как эпоха, которая через ряд внешних блестящих успехов завела человечество в какой-то тупик и совершила в его душе какое-то непоправимое опустошение и ожесточение. И в результате этого яркого и импонирующего развития культуры, просвещения, свободы и права человечество пришло на наших глазах к состоянию нового варварства.

"Прогресса" не существует. Нет такого заранее предуказанного пути, по которому бы шло человечество и который достаточно было бы объективно констатировать, научно познать, чтобы уже тем найти цель и смысл своей собственной жизни. Чтобы знать, для чего жить и куда идти, каждому нужно в какой-то совсем иной инстанции, в глубине своего собственного духа, найти себе абсолютную опору; нужно искать вехи своего пути не на земле, где плывешь в безграничном океане, по которому бессмысленно движутся волны и сталкивают разные течения, — нужно искать, на свой страх и ответственность, путеводной звезды в каких-то духовных небесах и идти к ней независимо от всяких течений и, может быть, вопреки им.

Это — первое. И с этим тесно связан и *второй* объективный итог нашего духовного развития, который есть лишь другая сторона первого. Старое, логически смутное, но психологически целостное и единое понятие "культуры" как общего комплекса достижений человечества, то как будто стройное, согласованное и неразрывное целое, в состав которого входили и наука, и искусство, и нравственная жизнь, умственное образование и жизненное воспитание, творчество гениев и средний духовный уровень народных масс, правовые отношения и государственный порядок, хозяйство и техника, — это мнимое целое разложилось на наших глазах, и нам уяснилась его сложность, противоречивость и несогласованность. Мы поняли, что нельзя говорить о какой-то единой культуре и преклоняться перед нею, разумея под ней одинаково и творчество Данте и Шекспира, и количество потребляемого мыла или распространенность крахмальных воротничков, подвиги человеколюбия и усовершенствование орудий человекоубийства, силу творческой мысли и удобное устройство ватерклозетов, внутреннюю духовную мощь человечества и мощность его динамомашин и радиостанций. Мысли, когда-то намеченные нашими славянофилами и ныне повторенные Шпенглером, о различии между "культурой" и "цивилизацией", между духовным творчеством и накоплением внешнего могущества и мертвых орудий и средств внешнего устроения жизни отвечают какой-то основной правде, ныне нами усмотренной, как бы сложно и спорно ни было теоретическое выражение этих мыслей. Так же ясно усмотрели мы различие и даже противоположность между глубиной и интенсивностью самой духовной жизни, с одной стороны, и экстенсивной распространенностью ее внешних результатов и плодов — с другой, между истинной просвещенностью и блеском внешней образованности, между внутренними нравственными основами жизни и официально возвещаемыми лозунгами или внешне нормированными правовыми и политическими отношениями, между культурой духа и культурой тела. Мы замечаем часто ослабление духовной активности при господстве лихорадочно-интенсивной хозяйственной, технической, политической деятельности, внутреннюю пустоту и нищету среди царства материального богатства и обилия внешних интересов, отсутствие подлинной осмысленности жизни при строгой рациональности ее внешнего устроения и высоким уровнем умственного развития.

Мы видим духовное варварство народов утонченной умственной культуры, черствую жестокость при господстве гуманитарных принципов, душевную грязь и порочность при внешней чистоте и благопристойности, внутреннее бессилие внешнего могущества. От туманного, расползающегося на части, противоречивого и призрачного понятия культуры мы возвращаемся к более коренному, простому понятию *жизни* и ее вечных духовных нужд и потребностей. "Культура" есть производное отложение, осадок духовной жизни человечества, и смотря по тому, чего мы ищем и что мы ценим в этой жизни, те или иные плоды или достижения жизни мы будем называть культурными ценностями. Но и здесь, следовательно, у нас нет более осязаемого, внешне данного и бросающегося в глаза, общеобязательного критерия уровня жизни. Жизнь есть противоборство разнородных начал, и мы должны знать, что в ней хорошо и что — дурно, что — ценно и что — ни

чтожно. Если мы найдем истинное добро, истинную задачу и смысл жизни и научимся их осуществлять, мы тем самым будем соучаствовать в творчестве истинной культуры. Но никоим образом мы не можем формировать наш идеал, нашу веру, озираясь на то, что уже признано в качестве культуры, и приспособляясь к нему.

В этом смысле и вера в "культуру" умерла в нашей душе, и все старые, прежде бесспорные ценности, причислявшиеся к ее составу, подлежат еще по меньшей мере пересмотру и проверке. Обаяние кумира культуры померкло в нашей душе так же, как обаяние кумира революции и кумира политики. Во всей извне окружающей нас общественной и человеческой жизни мы не находим больше опорных точек, не находим твердой почвы, на которую мы можем с доверием опереться. Мы висим в воздухе среди какой-то пустоты или среди тумана, в котором мы не можем разобраться, отличить зыбкое колыхание стихий, грозящих утопить нас, от твердого берега, на котором мы могли бы найти приют. Мы должны искать мужество в себе самих.

4. КУМИР "ИДЕИ" И "НРАВСТВЕННОГО ИДЕАЛИЗМА"

Описанные выше разочарования были преимущественно результатом общественного опыта, катастрофических событий последнего десятилетия; и они выражаются в крушении общественных верований — кумиров "революции", "политики", "культуры и прогресса". Но когда мы глубже всматриваемся в самих себя, то мы с удивлением убеждаемся, что общий итог этого крушения совпадает с итогом какого-то внутреннего-морального, личного духовного переворота, совершившегося в человеческой душе за последнее время, подготовлявшегося уже давно и совершенно независимо от каких-либо общественных событий. И вместе с тем мы замечаем, что все, в чем мы признались, еще лишь поверхностно, далеко не полно и недостаточно глубоко выражает всю значительность и радикальность происшедшей в нас духовной катастрофы. Эту катастрофу мы можем обозначить как крушение кумира "идеи" или "нравственного идеализма"; это есть основной перелом в общем моральном умонастроении — перелом, в отношении которого все предыдущее было как бы только некоторой прелюдией, вступительным описанием его внешних поводов и симптомов.

Современный человек, лишенный религиозной веры, жил до сих пор ее суррогатом в лице того, что он называл "идеей" или "принципами". "Идея" была либо представлением какой-либо внешней и отдаленной цели, какой-то подлежащей осуществлению задачи, которой человек посвящал всю свою жизнь, либо нравственными нормами и правилами, которым человек подчинял всю свою жизнь. У кого были такие "идеи", тех мы называли людьми "идейными", "принципиальными"; мы почитали их и старались сами стать такими же. Противоположный сорт людей назывался людьми "безыдейными" и "беспринципными"; это были современные, светские грешники и падшие. Человек оценивался не только по его непосредственной доброкачественности, талантливости, доброте и благожелательству, сколько по идейной убежденности и преданности своей "идее".

Основная мысль этого морального умонастроения заключалась в том, что человек тогда живет нормально и осмысленно, когда он служит, приносит всю свою жизнь в жертву какому-то определенному, отвлеченно постигнутому и выраженному началу. Тогда это начало есть добро и смысл человеческой жизни. Как указано, либо человек должен служить осуществлению какой-либо объективной задачи: он должен "посвятить себя" государству, воплощению определенного политического идеала, развитию народного образования, поднятию материального уровня народной жизни или какому-либо иному "идеалу"; либо же — и это есть обязательный для всех минимум требования — он должен во имя общего блага или непосредственной святости некоторых принципов — ограничить свою свободу неукоснительным соблюдением определенных норм поведения, нравственных правил, регулирующих его отношение к людям. Под "идеями", "принципами" или, еще иначе, "нравственными идеалами" разумелось одинаково и вера в определенные, подлежащие постепенному осуществлению, будущие состояния человеческой жизни, и вера в определенные порядки и правила, имеющие абсолютное значение и требующие постоянного соблюдения. В большинстве случаев человек должен был брать на себя бремя двойного служения: он должен был отдавать свои силы, свое внимание и интересы осуществлению своего "идеала" общественного, государственного, культурного и т. п. порядка, и он должен был строжайше подчинять себя дисциплине установленного, вечно действующего нравственного устава жизни.

При всей разнородности этих двух смыслов понятия "идеала", "идеи" или "принципа", морально-психологическое действие их на человеческую душу было одно и то же, и нам нет поэтому надобности рассматривать их в отдельности. Выше, в предыдущих размышлениях, мы отметили крушение ряда отдельных "идеалов" в первом смысле слова; общий итог этих размышлений легко наводит нас на мысль, что, после всех происшедших потрясений общественной жизни и общественных верований, вряд ли мы еще фактически в состоянии теперь непоколебимо уверовать в какой-либо "идеал" в этом смысле. Но совершенно независимо от этого фактического нашего бессилия и, однако, как бы обосновывая и тем усугубляя его, в нашей душе нарастает принципиальное неверие и притом, как во всякие вообще "идеалы", в смысле объективных целей, которые мы обязаны осуществлять, так и в нравственные идеалы, в смысле норм и правил поведения, которым мы должны беспрекословно подчиняться, как неприкосновенным святыням. Это не значит, что душа наша жаждет безграничного разгула, разнузданности, произвола, безмерной и бесформенной свободы: если такие вожделения и шевелятся иногда в ней, то это — только преходящие душевные состояния, ненормальность и неудовлетворенность которых мы хорошо сознаем. Напротив, в господствующем нашем духовном настроении преобладает с почти болезненной силой жажда чему-то отдать свою жизнь и через это самоотречение осмыслить ее и найти последнюю прочность и спокойствие. И тем не менее мы не можем отдать ее никакому "идеалу", никаким "принципам". Эта форма обоснования и упорядочения нравственной жизни нас больше не удовлетворяет. Мы ощущаем в ней не свободное жертвенное служение живому Богу, а бессмысленные, изуверские человеческие жертвоприношения идолам, в которых мы не верим, мертвость и призрачность которых мы ясно ощущаем. Мы вынуждены признаться в крушении главного, основного кумира современного человечества, кумира "нравственного идеализма", безрелигиозной морали долга, и отдать себе отчет в смысле и основаниях этого крушения. Как и почему оно совершилось — это трудно объяснить, да в этом нет и надобности. Нужно только ясно осознать, в чем оно, собственно, заключается и до какого духовного состояния мы дошли в его результате.

Общий смысл его состоит в том, что мы уже не верим в "добро" как отвлеченное, самодовлеющее начало, несущее свою святость и свое верховное владычество над душами в самом себе, и выразимое в ряде отдельных норм или требований, обязательных для человека. Выражаясь традиционным философским термином, мы не верим в "моральный категорический императив". Это неверие можно обосновать с разных сторон.

Первое, что мы ощущаем, как нечто ненормальное во всех отвлеченных нравственных идеалах и нормах, есть та холодная и беспощадная принудительность, с которою они властвуют над нашей душой. Я обязан их исполнить, я не вправе отступать от них, хочу ли я того или не хочу, и чего бы мне ни стоило их выполнение. Правда, со времени Канта, нам указывают на абсолютный, т. е. бесспорный характер этих норм и на их внутреннее, т. е. свободное признание личностью, в отличие от норм юридических, законов государства, которые властвуют над нами извне и силою внешнего давления, а не внутренней своей авторитетностью. Но уже Кант должен был признать, что собственно свободно, актом личного признания, подлинно "автономно" эти нормы приемлет и ставит над собой лишь высшее начало человеческой личности, "трансцендентальное я", тогда как эмпирический человек обязан просто и беспрекословно им повиноваться. А если мы от этой отвлеченной теории перейдем к непосредственной практике, к живому душевному и духовному опыту человека, то мы ясно сознаем, что это притязание на абсолютную, непререкаемую бесспорность и на внутреннюю, а не только внешнюю авторитетность, — притязание, с которым действительно выступают нравственные требования, не смягчает, а, напротив, усугубляет их властность, беспощадность, тиранию их господства над нашей душой. Ибо в действительности никто из нас, живых мятущихся людей, одержимых и добрыми, и злыми страстями, раздираемых и разнородными порывами, и сложными сомнениями, не владеет тем строгим, чистым, неподкупным и незыблемым, бесстрашным и безошибочным высшим разумом, который, согласно теории Канта и ходячим моральным учениям, должен свободно и с полной внутренней убедительностью ставить над нами этот незыблемый нравственный закон. С точки зрения живого психологического опыта это высшее и строго разумное я есть просто выдумка, которой не соответствует никакая действительность. И хотя бы не только в отвлеченной философской теории, но и в практике нравственной жизни люди привыкли симулировать это наличие внутри их безошибочно судящего нравственного разума и потому требуют и от нас беспрекословного признания его авторитета — здесь, где мы решили правдиво описать и осмыслить наш духовный опыт, мы должны, как мальчик в андерсеновской сказке, открыто сказать, что "король гол" и что мы лишены удовольствия знать это "чисто трансцендентальное я" и потому и не можем свободно поклоняться ему и его предписаниям.

Что же это значит? Отрицаем ли мы наличие совести у человека, силу и влиятельность ее указаний в человеческой жизни? В нашу задачу — в задачу непредвзятого описания духовной реальности — не может входить никакое доктринерское отрицание реальных фактов. Совесть, эта "змея сердечных угрызений", внутренний стыд перед самим собою, от которого иногда сгорает человек, презрение к самому себе, мучительная тоска по просветлению и самоочищению, безнадежная жажда исправить непоправимое, стереть из прошлого содеянный грех — все это факты, и факты слишком значительные, чтобы их можно было отрицать или не замечать. Но здесь, не вдаваясь в более глубокое рассмотрение этих фактов, мы отметим лишь существенное отличие этих интимных, глубоко личных, позаенных морали

ных кризисов от того как бы официального, общеобязательного, основанного на строгих, неизменных, общепризнанных нормах морали, суда "нравственного разума", который угнетает нашу духовную жизнь и подлинная осмысленность и авторитетность которого нам сомнительна. Если под "совестью" — как это обычно бывает — разуметь наше внутреннее подчинение этому суду и этой власти, то недалек от правды будет Шопенгауэр, сказавший где-то, что то, что называют голосом совести, на 90% есть просто страх общественного порицания, рабская трусость перед мнением других.

И действительно, там, где над нами властвуют эти отвлеченные, общеобязательные, холодно-разумные нравственные "идеалы" и "принципы", мы ощущаем себя данниками, пленниками, подъяремными рабами. Поскольку мы еще не свыклись до конца с этим рабским состоянием, поскольку мы еще сохранили — по крайней мере наедине с собой — свободную правдивость духа, в нас невольно накипает протест против этих оков. Нарождается недопустимый, еретический и глупый для большинства людей, но неотвязный детски наивный вопрос: почему вообще я обязан что-либо делать, к чему у меня нет влечения? Почему вообще я, живущий в мире один только раз, полный ненасытимой жажды жизни и самообнаружения, должен жертвовать собой чему-то или кому-то, ограничивать и стеснять себя? Почему я должен быть добрым, должен любить людей, если я их ненавижу, почему и во имя чего я должен ломать и переделывать самого себя, быть не тем, что я есть на самом деле? И наконец, если бы я даже пытался в угоду так называемым нравственным идеалам ломать себя, то я бы в действительности не сумел этого сделать: я не могу быть добродетельным и строго принципиальным человеком, если я на самом деле рожден грешным, страстным, раздираемым противоречивыми желаниями, мятущимся существом; я могу разве только казаться добродетельным. Так неужели же в этом — задача морали? Или, может быть, так дело и обстоит, и все люди хотят только казаться добродетельными и поглубже прятать от суда морали свою подлинную живую природу, свое внутреннее необузданно-свободное существо?

И невольно вспоминаются дерзновенные протесты, новые и старые, против ига морали. Вспоминается Штирнер с его анархическим культом самодержавного я, вспоминается глумление Ницше над "моралью рабов" и его аристократический идеал внутренне-благородной, духовно-свободной личности, которая знает свою высшую ценность и имеет право на все, не признавая над собою ничьего суда и закона. Вспоминается еще древнее, приводимое Платоном, рассуждение свободомыслящего грека (Калликла в диалоге "Горгий"), что человек рождается с львиной природой, но попадает в руки воспитателей, которые, из корыстной и трусливой потребности своего самосохранения, прививают ему идеи и чувства овцы, кротость, покорность и миролюбие; но когда такой дрессированный львенок подрастет, он рано или поздно разорвет связывающие его путы и явится во всем своем грозном природном величии, во всей силе своей первобытной свободы; или аналогичное, тоже сохраненное Платоном, рассуждение (ритора Тразимаха в I-ой книге "Государства"), что мораль, идея служения ближним, есть сказка старых нянек, с помощью которых умные властители усыпляют и одурачивают ребячливых людей, чтобы тем свободнее властвовать над ними в своих интересах. Пусть такой аморализм не во всем прав, пусть он увлекает нас на опасные и гибельные пути, пусть он искусственно упрощает сложность человеческой природы и слишком грубо отождествляет драгоценный духовный дар человеческой свободы с простой звериной разнузданностью, с одним лишь безмерным простором страстей и вожделений; все же перед лицом холодной, тиранической и внутренне непонятной нам морали долга он содержит для нас какую-то неизъяснимую, соблазняющую правду, какой-то прельщающий нас призыв к духовной свободе.

Сколько жертв было принесено на алтарь революционного или "прогрессивного" общественного мнения! Сколько талантов погибало или по крайней мере подвергалось жесточайшим преследованиям, настоящему беспощадному моральному бойкоту за нарушение "категорического императива" "прогрессивного" общественного мнения. Едва ли можно найти хоть одного подлинно даровитого, самобытного, вдохновенного русского писателя или мыслителя, который не подвергался бы этому моральному бойкоту, не претерпел бы от него гонений, презрения и глумлений. Аполлон Григорьев и Достоевский, Лесков и Константин Леонтьев — вот первые, приходящие в голову самые крупные имена гениев или по крайней мере настоящих вдохновенных национальных писателей, травимых, если не затравленных, моральным судом прогрессивного общества. Другим же, мало известным жертвам этого суда — нет числа.

Мы склонны с презрением или в лучшем случае с улыбкой снисходительной иронии вспоминать этот недавний деспотизм общественного мнения. Напрасно. Ибо в нем ничего не изменилось, кроме содержания и названия кумиров, которым приносят эти человеческие жертвы. С тем же фарисейским самодовольством, с тем же жестоким и холодным невниманием к живой человеческой личности травят в настоящее время людей, живая душа которых не может улечься в трафареты "контрреволюционного" общественного долга. И опять идет проповедь общественного

героизма как священного и потому морально принудительного долга всякой личности, вне которого ей нет признания. И опять роковым образом на одного подлинно воодушевленного и свободного героя, влекомого на подвиг внутренней любовью и призванием, приходятся десятки жертв, гонимых бичом морального общественного мнения.

Быть может, нас упрекнут, что мы допустили непозволительный подмен понятий: наша тема была — власть "идей" и "моральных идеалов", а мы говорим о давлении общественного порицания, о гнете людского мнения. Нравственный идеал, скажут нам, есть то, что личность признает сама, во что она подлинно внутренне верует; нравственный идеал, согласно приведенному уже разъяснению Канта, всегда "автономен", власть же общественного мнения — "гетерономна". Но в том-то и дело, что это различие, теоретически так отчетливо устанавливаемое, в практике душевной жизни постоянно стирается, и почти всегда совершенно отсутствует. И поскольку речь идет именно о нравственных нормах, выражаемых в рациональных, для всех людей и случаев жизни одинаково обязательных понятиях, и ничем иным, кроме своего собственного авторитета не обоснованных, — мы именно и утверждаем, что живая личность, по собственному, внутреннему, подлинно свободному отношению своему к ним, их не признает, а лишь по нужде подчиняется им, как извне навязанному игу. Подлинная конкретная нравственная жизнь — и личные потребности человека, не только низшие, но и высшие духовные, от которых он не может отречься, и жизненная обстановка, живые отношения к людям — все это так сложно, индивидуально, что нравственная правда здесь всегда может быть лишь конкретной и не укладываться ни в какие общие принципы, нормы и идеи.

Есть еще одна сторона дела, которая изобличает перед нами имманентную ложь, внутреннюю неправду в обычной структуре морального нормирования жизни. Всякий моральный принцип или идеал, в чем бы он ни выражался, если только он выражен отвлеченно-рационально, заключает в себе возведение некоего ч а с т н о г о содержания жизни или интереса в достоинство верховного владыки и распорядителя тем бесконечным целым, которое дано в живой человеческой жизни. Объявляется ли нам наша обязанность служить народу или государству, или сохранить верность семье, или какая-либо иная обязанность в качестве высшего и абсолютного долга — всюду безмерная полнота нашего духа искусственно ограничивается, стискивается в узкие, строго очерченные рамки, беспощадно вталкивается в некое прокрустово ложе. Мы хорошо понимаем, конечно, необходимость какого-то вообще самоограничения, духовного формирования личности, без которого нам грозит расплыться в хаосе, потерять руководящую нить в жизни; но мы ищем этого формирования изнутри, из цельной природы нашего духа, из глубины нашего личного, неповторимо-своеобразного призвания. Втискивание же нашей личности в какую-то частную, заранее, без внимания к ее своеобразию, заготовленную форму мы неизбежно ощущаем как насилие и калечение, которому мы не хотим подчиниться, более того — которому мы не можем подчиниться, даже если бы того хотели. Ибо мы сознаем наш дух, во всей его полноте и цельности, как нечто абсолютно ценное, что мы и не вправе отдавать в рабство, и чем мы и фактически не можем распоряжаться, потому что его исконно-самобытное существо сильнее всех наших сознательных умыслов. И даже в самых стихийных, отчасти даже в порочных влечениях наших мы ощущаем, быть может, низшие, требующие очищения и просветления, но все же подлинные обнаружения этой превозмогающей наш разум внутренней самобытности нашего существа.

Поэтому роковым, неизбежным последствием отвлеченно морального нормирования жизни является моральное л и ц е м е р и е. Жизнь распадается на две части — официальную и подлинную, интимную.

Можно искалечить человеческий дух, можно внешне властвовать над ним; но внутренне поработить его нельзя, даже если его носитель сознательно согласится на это. И потому моральные принципы и отвлеченные моральные идеалы не нормируют духовной жизни; они нормируют только ее внешние проявления, но большей части ценою внутреннего морального ее искажения, загрязнения, заключения ее в душную и отравляющую здоровье подземную тюрьму. Кто раз отдал себе в этом отчет — а какие-то, нам самим непонятные, духовные токи современности наводят нас на это, как будто вынуждают нас раскрыть глаза и смело видеть правду — тот уже не может больше поклоняться кумиру "идей" и "нравственного идеализма".

И наконец — последнее. В умонастроении, подчиненном "моральному идеализму", служению "идеям" и "принципам", действует роковая диалектика, в силу которой все, что представляется очевидным добром в нравственном намерении и устремлении, становится з л о м в своем реальном осуществлении. Нравственный идеал, спускаясь со своих туманных отвлеченных высот на землю, внедряясь в жизнь и реально действуя в сложных, всегда несовершенных и противоречивых условиях человеческого быта и конкретной человеческой природы, обнаруживает себя неожиданно не как просветляющую, возвышающую, облагораживающую жизнь силу, а именно как силу разрушающую и угнетающую. Мы уже

отметили это в размышлении о кумире революции и кумире политического идеала. Здесь мы можем это распространить на всякий вообще "идеал", т. е. на всякий выраженный в какой-либо отвлеченной формуле образец, которому должна быть подчинена жизнь и согласно которому она должна быть переделана. Нравственный идеализм всегда вполне прав в своем бичевании пороков и несовершенств существующего; и он привлекает к себе сердца своим мученичеством во имя высших начал, своею преданностью мечте о добре, подлежащем осуществлению. Но когда его провозвестники из роли мечтателей, обличителей и борцов за правду переходят в роль осуществителей этой правды, реальных распорядителей и властителей жизни, они возбуждают ненависть своей тиранией, невниманием к конкретно сложным нуждам жизни, к многообразию человеческих потребностей и слабости человеческой природы. Чем пламеннее их вера в определенный идеал, чем более незыблем авторитет этого идеала, тем более слепо и жестоко они калечат и разрушают жизнь. Ибо ненависть к злу превращается в ненависть ко всей живой жизни, которую не удается втиснуть в рамки "идеала". Тогда-то обычно обнаруживается, что, как ни совершенна реальная жизнь, стихийно слагающаяся из несовершенных, слабых, порочных человеческих стремлений, она имеет уже то огромное, безмерное преимущество перед всяким отвлеченным идеалом жизни, что она как-то уже фактически сложилась, органически выросла, приспособилась к реальной человеческой природе и ее выражает, идеал же есть только то, что должно быть, что предписано к осуществлению, но что не имеет реальных корней в самой жизни и ради чего реальная жизнь разрушается и калечится. Чтобы вернуться к первой, исходной точке наших размышлений, к самому сильному внешнему впечатлению, под влиянием которого совершается наш нынешний моральный кризис: в чем, собственно, лежит последний источник столь потрясающе явно обнаружившегося зла социализма? В том, конечно, что социализм есть крайняя степень морально общественного рационализма, мечта о подчинении всей жизни без изъятия, включая сюда даже всю сферу телесных нужд человека и их хозяйственного удовлетворения, строгим общим, отвлеченно выраженным, единообразным принципам моральной справедливости. Социализм ведь отрицательно совершенно прав: человек, даже если он никого сознательно не обижает, никому не причиняет умышленного вреда, даже если он только предается мирной обработке своего участка земли или труду в своей мастерской и столь же мирно обменивает потом произведенное на иные, нужные ему предметы, повинен в существующем зле и неправде, ответствен за нищету и голод своих ближних; он повинен уже потому, что думает только о своих нуждах, а не о нужде ближнего и об объективной справедливости; и конечно, стихийное столкновение слепых эгоистических вожделений далеко не всегда и не во всем обеспечивает — как это думали либеральные оптимисты — осуществление социальной гармонии и общего счастья. Но когда социализм поэтому предписывает человеку подчинить свою хозяйственную жизнь строгим принципам социальной справедливости, радеть не о себе, а об общем благе, когда он пытается оковать жизнь этими суровыми принципами справедливости, грешное человеческое существо, понуждаемое быть подвижником идеи, превращается в зверя, вообще не способного к труду, а способного лишь к хищническому истреблению всякой жизни. И тогда уясняется, что, как ни верна сама по себе моральная идея, она ложна и гибельна уже тем, что есть только идея, только отвлеченный "постулат", а не живая творческая сила и что поэтому, при столкновении ее с жизнью, она не обогащает ее, а обедняет и разрушает.

Но такова же судьба всякой вообще идеи, всякого отвлеченного идеализма; разница может быть лишь в степени их губительности, но не в самом характере их вредоносности; и степень эта определяется степенью логической оформленности, отвлеченной точности и потому узости нравственного идеала, можно сказать — степенью идеалистичности идеала, его удаленности от жизни, его принципиальности и потому антиреалистичности. И в этом смысле можно сказать, что есть только один идеал, который еще хуже материалистического социализма: это — последовательно "идеалистический" социализм, теократическая мечта насаждения на земле, с помощью отвлеченных принципов морали, совершенного общества святых, — идеал всяких толстовцев и им подобных сектантов. Ибо такое общество, если бы оно могло быть осуществлено, было бы осуществлением законченного зла, порождаемого ханжеством, изуверством, лицемерием, жестокостью и нравственной тупостью.

Такова роковая судьба идеализма. Его святые и подвижники неизбежно становится фарисеями, его герои становятся извергами, насильниками и палачами. Нет, пусть мы, нынешние люди, безнадежно слабы, грешны, бредем без пути и цели — нравственным "идеализмом", служением отвлеченной "идее" нас больше соблазнить невозможно.

Окончание следует

СИОНСКИЕ ПРОТОКОЛЫ*

ПРОТОКОЛ № 14-й

Религия будущего. Будущее крепостное право. Недоступность познания тайн религии будущего. Порнография и будущее печатного слова.

Когда мы воцаримся, нам нежелательно будет существование другой религии, кроме нашей о едином Боге**, с которым наша судьба связана нашим избранничеством и которым та же наша судьба объединена с судьбами мира. _Поэтому мы должны разрушить всякие верования._ Если от этого родятся современные атеисты, то, как переходная ступень, это не помешает нашим видам, а послужит примером для тех поколений, которые будут слушать проповеди наши о религии Моисея***, приведшей своей стойкой и обдуманной системой к покорению нам всех народов. В этом мы подчеркнем и мистическую ее правду, на которой, скажем мы, основывается вся ее воспитательная сила... Тогда при каждом случае мы будем сравнивать наше благое правление с прошлым. Благодеяния покоя, хотя и вынужденного веками волнений, послужат к новому рельефу сказанного блага. Ошибки гоевских администраций будут описываться нами в самых ярких красках. Мы посеем такое к ним отвращение, что народы предпочтут покой в крепостном состоянии правам пресловутой свободы, столь их измучившим, истощившим самые источники человеческого существования, которые эксплуатировались толпою проходимцев, не ведавших, что творят... _Бесполезные перемены правлений, к которым мы подбивали гоев, когда подкапывали их государственные здания, до того надоедят к тому времени народам, что они предпочтут терпеть от нас все, лишь бы не рисковать переиспытывать пережитые волнения и невзгоды._ Мы же особенно будем подчеркивать исторические ошибки гоевских правлений, столько веков промучивших человечество отсутствием сообразительности во всем, что касается истинного его блага, в погоне за фантастическими проектами социальных благ, не замечая, что эти проекты все более ухудшали, а не улучшали положение всеобщих отношений, на которых основывается человеческая жизнь...

Вся сила наших принципов и мероприятий будет заключена в том, что они выставятся и истолкуются как яркий контраст разложившимся старым порядкам общественного строя.

Наши философы будут обсуждать все недостатки гоевских верований, _но никто никогда не станет обсуждать нашу веру с ее истинной точки зрения, так как ее никто основательно не узнает, кроме наших, которые никогда не посмеют выдать ее тайны_*...

В странах, называемых передовыми, мы создали безумную, грязную, отвратительную литературу**. Еще некоторое время после вступления нашего во власть мы станем поощрять ее существование, чтобы она рельефнее обрисовала контраст речей, программ, которые раздадутся с высот наших... Наши умные люди, воспитанные для руководства гоями, будут составлять речи, проекты, записки, статьи, которыми мы будем влиять на их умы, направляя их к намеченным нами понятиям и знаниям.

ПРОТОКОЛ № 15-й

Однодневный мировой переворот. Казни. Будущая участь гоев-масонов. Мистичность власти. Размножение масонских лож. Центральное управление мудрецов. "Азефовщина". Масонство как руководитель всех тайных обществ. Значение публичного успеха. Коллективизм. Жертвы. Казни масонов. Падение престижа законов и власти. Предызбранничество. Краткость и ясность законов будущего царства. Послушание начальству. Меры против злоупотребления властью. Жестокость наказания. Предельный возраст для судей. Либерализм судей и власти. Мировые деньги. Абсолютизм масонства. Право кассации. Патриархальный "вид" власти будущего "правителя". Обоготворение правителя. Право сильного как единственное право. Царь Израильский — патриарх мира.

* _Продолжение. Начало в № 2 — 4._

** Происхождение этого "единого Бога" будет выяснено ниже.

*** Подразумевается — Талмуд.

* Теперь "тайна их" веры раскрыта: ее раскрытие читатель найдет ниже.

** Участие евреев в создании и распространении этого рода литературы известно.

Когда, наконец, окончательно воцаримся при помощи государственных переворотов, всюду подготовленных к одному и тому же дню, после окончательного признания негодности всех существующих правительств (а до этого пройдет еще немало времени, может, и целый век), мы постараемся, чтобы против нас уже не было заговоров. Для этого мы немилосердно казним всех, кто встретит наше воцарение с оружием в руках. Всякое новое учреждение какого-либо тайного общества будет тоже наказано смертной казнью, и те из них, которые ныне существуют, нам известны и нам служат и служили, мы раскассируем и вышлем в далекие от Европы континенты. Так мы поступим с теми *гоями из масонов, которые слишком много знают;* те же, которых мы почему-либо помилуем, будут оставаться в постоянном страхе перед высылкой. Нами будет издан закон, по которому все бывшие участники тайных обществ подлежат изгнанию из Европы как центра нашего управления.

Решения нашего правительства будут окончательны и безапелляционны.

В гоевских обществах, в которых мы посеяли такие глубокие корни разлада и протестантизма, возможно водворить порядок только беспощадными мерами, доказывающими неукоснительную власть: нечего смотреть на падающие жертвы, приносимые для будущего блага. В достижении блага, хотя бы путем жертвоприношения, заключена обязанность всякого правления, которое сознает, что не в привилегиях только, но и в обязанностях состоит его существование. Главное дело для незыблемости правления — укрепление ореола могущества, а ореол этот достигается только величественной непоколебимостью власти, которая носила бы на себе признаки неприкосновенности от мистических причин — от Божьего избрания. *Таково было до последнего времени русское Самодержавие — единственный в мире серьезный враг наш, если не считать Папства.* Вспомните пример того, как залитая кровью Италия не коснулась волоса с головы Силлы, который пролил эту кровь. Силла обоготворился своей мощью в глазах народа, хотя и истерзанного им, а мужественное его возвращение в Италию ставило его вне прикосновенности... Народ не касается того, кто гипнотизирует его своей храбростью и силою духа.

Пока же, до нашего воцарения, мы, напротив, создадим и размножим франкмасонские ложи во всех странах мира, втянем в них всех, могущих быть и существующих выдающихся деятелей, потому что в этих ложах будет главное справочное место и влияющее средство. Все эти ложи мы централизуем под одно, одним нам известное, всем же остальным неведомое управление, которое состоит из наших мудрецов. Ложи будут иметь своего представителя, прикрывающего собою сказанное управление *масонства,* от которого будут исходить пароль и программа. В этих ложах мы завяжем узел всех революционных и либеральных элементов. Состав их будет состоять из всех слоев общества. Самые тайные политические замыслы будут нам известны и попадут под наше руководство в самый день их возникновения. *В числе членов этих лож будут все почти агенты международной и национальной полиции**, так как ее служба для нас незаменима в том отношении, что полиция может не только по-своему распорядиться с непокорными, но и прикрыть наши деяния, создавать предлоги к неудовольствиям и т. д...

В тайные общества обыкновенно поступают всего охотнее аферисты, карьеристы и вообще люди, по большей части легкомысленные, с которыми нам будет нетрудно вести дело и ими заводить механизм проектированной нами машины... Если этот мир замутится, то это будет означать, что нам нужно его замутить, чтобы расстроить слишком большую его солидарность. *Если же среди него возникнет заговор, то во главе его станет не кто иной, как один из вернейших слуг наших.* Естественно, что мы, а не кто другой, поведем *масонские* действия, ибо мы знаем, куда ведем, знаем конечную цель всякого действия, гои же не ведают ничего, даже непосредственного результата: они задаются, обыкновенно, минутным расчетом удовлетворения самолюбия в исполнении задуманного, не замечая даже того, что самый замысел не принадлежал их инициативе, а нашему наведению на мысль..

Гои идут в ложи из любопытства или в надежде при их помощи пробраться к общественному пирогу, а некоторые для того, чтобы иметь возможность высказать перед публикой свои несбыточные и беспочвенные мечтания: они жаждут эмоции успеха и рукоплесканий, на которые мы весьма щедры. Мы затем и даем им этот успех, чтобы пользоваться отсюда рождающимся самообольщением, с которым люди незаметно воспринимают наши внушения, не остерегаясь их, в полной уверенности, что их непогрешимость выпускает свои мысли, а воспринять чужих уже не может... Вы не можете себе представить, как умнейших из гоев можно привести к бессознательной наивности, при условии самообольщения, и вместе с тем, как легко их обескуражить маленькой неудачей, хотя бы прекращением аплодисментов, и привести к рабьему повиновению ради обоснования успеха... *Насколько наши пренебрегают успехом, лишь бы провести свои планы, настолько гои готовы пожертвовать всякими планами, лишь бы получить успех.* Эта их психология значительно облегчает нам задачу их направления. Эти тигры по виду имеют бараньи души, а в головах их ходит сквозной ветер. Мы посадили их на конька мечты о поглощении человеческой индивидуальности символической единицей *коллективизма...* Они еще не разобрались и не разберутся в той мысли, что этот конек есть явное нарушение главнейшего закона природы, создавшей с самого сотворения мира единицу, не похожую на другие именно в целях индивидуальности...

Если мы могли привести их к такому безумному ослеплению, то не доказывает ли это с поразительной ясностью, до какой степени ум гоев человечески не развит по сравнению с нашим умом?! Это то, что главным образом и гарантирует наш успех.

Насколько же были прозорливы наши древние мудрецы, когда говорили, что для достижения серьезной цели не следует останавливаться перед средствами и считать число жертв, приносимых ради этой цели... Мы не считали жертв из числа семени скота — гоев, хотя и пожертвовали многими из своих, но зато и теперь уже дали им такое положение на земле, о котором они и мечтать не могли. Сравнительно немногочисленные жертвы из числа наших оберегли нашу народность от гибели.

Смерть есть неизбежный конец для всякого. Лучше этот конец приблизить к тем, кто мешает нашему делу, чем к нашим, к нам, создателям этого дела. *Мы казним масонов так, что никто, кроме братии, об этом заподозрить не может, даже сами жертвы казни: все они умирают, когда это нужно, как бы от нормального заболевания...* Зная это, даже братия, в свою очередь, не смеет протестовать. Такими мерами мы вырвали из среды масонства самый корень протеста против наших распоряжений. Проповедуя гоям либерализм, мы в то же время держим свой народ и наших агентов в неукоснительном послушании.

Под нашим влиянием исполнение гоевских законов сократилось до минимума. Престиж закона подорван либеральными толкованиями, введенными нами в эту сферу. В важнейших политических и принципиальных делах и вопросах суды решают, как мы им предписываем, видят дела в том свете, каким мы их облекаем для гоевской администрации, конечно, через подставных лиц, с которыми общего как бы не имеем, — газетным мнением или другими путями... Даже сенаторы и высшая администрация слепо принимают наши советы. Чисто животный ум гоев не способен к анализу и наблюдению, а тем более к предвидению того, к чему может клониться известная постановка вопроса.

В этой разнице способности мышления между гоями и нашими можно ясно узреть печать избранничества и человечности, в отличие от животного, инстинктивного ума гоев. Они зрят, но не предвидят и не изобретают (разве только материальные вещи). Из этого ясно, что сама природа предназначила *нам* руководить и править миром.

Когда наступит время нашего открытого правления, время проявлять его благотворность, мы переделаем все законодательства: наши законы будут кратки, ясны, незыблемы, *без всяких толкований,* так что их всякий будет в состоянии знать. Главная черта, которая будет в них проведена, — это послушание начальству, доведенное до грандиозной степени. Тогда всякие злоупотребления иссякнут вследствие ответственности всех до единого перед высшей властью представителя власти. Злоупотребления же властью, лежащей ниже этой последней инстанции, будут так беспощадно наказываться, что у всякого отпадет охота экспериментировать свои силы. Мы будем неукоснительно следить за каждым действием администрации, от которой зависит ход государственной машины, ибо распущенность в ней порождает распущенность всюду: ни один случай незаконности или злоупотребления не останется без примерного наказания.

Укрывательство, солидарное попустительство между служащими в администрации — все это зло исчезнет после первых же примеров сурового наказания. Ореол нашей власти требует целесообразных, т. е. жестоких наказаний за малейшее нарушение, ради личной выгоды, ее высшего престижа. Потерпевший, хотя бы и не в меру своей вины, будет как бы солдатом, падающим на административном поле на пользу Власти, Принципа и Закона, которые не допускают отступления с общественной дороги на личную от самих же правящих общественной колесницей. Например: *наши судьи будут знать, что, желая похвастать глупым милосердием, они нарушают закон о правосудии, который создан для примерного назидания людей наказаниями за проступки, а не для выставки духовных качеств судьи...* Эти ка-

* "Азефовщина".

чества уместно показывать в частной жизни, а не на общественной почве, которая представляет собою воспитательную основу человеческой жизни.

Наш судебный персонал будет служить не долее 55-летнего возраста, во-первых, потому, что старцы упорнее держатся предвзятых мнений, менее способны повиноваться новым распоряжениям, а во-вторых, потому, что это нам доставит возможность такой мерой достигнуть гибкости перемещения персонала, который этим легче согнется под нашим давлением: кто пожелает задержаться на своем месте, должен будет слепо повиноваться, чтобы заслужить это. Вообще же наши судьи будут выбираемы нами из среды только тех, которые твердо будут знать, что их роль карать и применять законы, а не мечтать о проявлении либерализма за счет государственного воспитательного плана, как это ныне воображают гои... Мера перемещения будет служить еще и к подрыву коллективной солидарности сослуживцев и всех привяжет к интересам правительства, от которого будет зависеть их судьба. Молодое поколение судей будет воспитано во взглядах о недопущении таких злоупотреблений, которые могли бы нарушить установленный порядок отношений наших подданных между собою.

Ныне гоевские судьи творят поблажки всяким преступлениям, не имея представления о своем назначении, потому что теперешние правители при определении судей на должность не заботятся внушить им чувства долга и сознания дела, которое от них требуется. Как животное выпускает своих детей на добычу, так и гои дают своим подданным доходные места, не думая им разъяснять, на что это место создано. Оттого-то их правления и разрушаются собственными силами, через действия своей же администрации.

Почерпнем же в примере результатов этих действий еще один урок для своего правления.

Мы искореним либерализм из всех важных стратегических постов нашего управления, от которых зависит воспитание подчиненных нашему общему строю. На эти посты попадут только те, которые будут воспитаны нами для административного управления. На возможное замечание, что отставка старых служащих будет дорого стоить казне, скажу, во-первых, что им найдут предварительно частную службу взамен теряемой, а во-вторых, замечу, что в наших руках будут сосредоточены все мировые деньги, следовательно, не нашему правительству бояться дороговизны...

Наш абсолютизм во всем будет последователен, а потому в каждом своем постановлении наша великая воля будет уважаема и беспрекословно исполняема: она будет игнорировать всякий ропот, всякое недовольство, искореняя всякое проявление их в действии наказанием примерного свойства.

Мы упраздним кассационное право, которое перейдет в исключительное наше распоряжение — в ведение правящего, ибо мы не должны допустить возникновения мысли у народа, чтобы могло состояться неправильное решение нами поставленных судей. Если же что-либо подобное произойдет, то мы сами кассируем решение, но с таким примерным наказанием судьи за непонимание своего долга и назначения, что эти случаи не повторятся... Повторяю, что ведь мы будем знать каждый шаг нашей администрации, за которой только и надо следить, чтобы народ был доволен нами, ибо он вправе требовать от нас хорошего правления и хорошего ставленника.

Наше правление будет иметь вид патриархальный, отеческой опеки со стороны нашего правителя. Народ наш и подданные увидят в его лице отца, заботящегося о каждой нужде, о каждом действии, о каждом взаимоотношении как подданных друг к другу, так и их к правителю. Тогда они настолько проникнутся мыслью, что им невозможно обходиться без этого попечения и руководительства, если они желают жить в мире и спокойствии, что *они признают самодержавие нашего правителя с благоговением, близким к о б о г о т в о р е н и ю,* особенно когда убедятся, что наши ставленники не заменяют его власть своею, а лишь слепо исполняют его предписания. Они будут рады, что мы все урегулировали в их жизни, как это делают умные родители, которые хотят воспитывать своих детей в чувстве долга и послушания. Ведь народы по отношению к тайнам нашей политики вечно несовершеннолетние дети, точно так же, как и их правления...

Как видите, я основываю наш деспотизм на праве и долге: *право вынуждать исполнение долга* есть прямая обязанность правительства, которое есть отец для своих подданных. Оно имеет право сильного для того, чтобы пользоваться им во благо направления человечества к природно определенному строю — послушанию. Все в мире находится в послушании, если не у людей, то у обстоятельств или у своей натуры, во всяком случае у сильнейшего. Так будем же мы этим сильнейшим ради блага.

Мы обязаны не задумываясь жертвовать отдельными личностями, нарушителями установленного порядка, ибо в примерном наказании зла лежит великая воспитательная задача.

Когда царь Израильский наденет на свою священную голову корону, поднесенную ему Европой, он сделается патриархом мира. Необходимые жертвы, им принесенные вследствие их целесообразности, никогда не достигнут числа жертв, принесенных в течение веков манией величия — соревнованием гоевских правительств.

Наш царь будет находиться в непрестанном общении с народом, говоря ему с трибуны речи, которые молва будет в тот же час разносить на весь мир.

ПРОТОКОЛ № 16-й

Обезвреживание университетов. Замена классицизма. Воспитание и звание. Реклама власти "правителя" в школах. Отмена свободного преподавания. Новые теории. Независимость мысли. Наглядное обучение.

С целью уничтожения всяких коллективных сил, кроме наших, мы обезвредим первую ступень коллективизма — *университеты*, перевоспитав их в новом направлении. *Их начальство и профессора будут подготовляемы для своего дела подробными тайными программами действий, от которых они безнаказанно не отступят ни на йоту. Они будут назначаться с особой осторожностью и будут поставлены в полную зависимость от правительства.*

Мы исключим из преподавания государственное право, как и все, что касается политического вопроса. Эти предметы будут преподаваться многим десяткам лиц, избранных по выдающимся способностям из числа посвященных. *Университеты не должны выпускать из своих стен молокососов, стряпающих планы конституции, как комедии и трагедии, занимаясь вопросами политики, в которых и отцы-то их никогда ничего не смыслили.*

Плохо направленное ознакомление большого числа лиц с вопросами политики создает утопистов и плохих подданных, как вы сами можете усмотреть из примера всеобщего воспитания в этом направлении гоев. Нам надо бы ввести в их воспитание все те начала, которые так блистательно надломили их строй. Когда же мы будем у власти, то мы удалим всякие смущающие предметы из воспитания и сделаем из молодежи послушных детей начальства, любящих правящего, как опору и надежду на мир и покой.

Классицизм, как и всякое изучение древней истории, в которой более дурных, чем хороших примеров, мы заменим изучением программы будущего. Мы вычеркнем из памяти людей все факты прежних веков, которые нам нежелательны, оставим из них только те, которые обрисовывают все ошибки гоевских правлений. Учение о практической жизни, об обязательном строе, об отношениях людей друг к другу, об избежании дурных эгоистических примеров, которые сеют заразу зла, и другие подобные вопросы воспитательного характера будут стоять в первых нумерах преподавательской программы, составленной по отдельному плану для каждого звания, ни под каким видом не обобщая преподавания. Такая постановка вопроса имеет особую важность.

Каждое общественное звание должно быть воспитано в строгих разграничениях, согласно назначению и труду. *Случайные гении всегда умели и сумеют проскользнуть в другие звания, но ради этой редкой случайности пропускать в чужие ряды бездарности, отнимая места от присущих этим рядам по рождению и занятию — совершенное безумие. Вы сами знаете, чем это кончилось для гоев, допустивших эту вопиющую бессмыслицу.*

Чтобы правящий крикливо засел в сердцах и умах своих подданных, надо во время его деятельности преподавать всему народу в школах и на площадях об его значении и деяниях, о всех его благоначинаниях.

Мы уничтожим всякое свободное преподавание. Учащиеся будут иметь право вместе с родными собираться, как в клуб, в учебные заведения: во время этих собраний, по праздникам, преподаватели будут читать якобы свободные лекции о вопросах человеческих отношений, о законах примера, о репрессалиях, рождающихся от бессознательных отношений, и наконец, о философии новых теорий, еще не явленных миру. Эти теории мы возведем в догмат веры, как переходную ступень к нашей вере. По окончании изложения нашей программы действий в настоящем и будущем я вам прочту основание этих теорий.

Словом, зная из многовекового опыта, что люди живут и руководятся идеями, что эти идеи всасываются людьми только при помощи воспитания, даваемого с одинаковым успехом всем возрастам, конечно, только различными приемами, мы поглотим и конфискуем в нашу пользу последние проблески независимости мысли, которую мы уже давно направляем на нужные нам предметы и идеи. Система обуздания мысли уже в действии, в так называемой системе *наглядного обучения*, имеющей превратить гоев в немыслящих послушных животных, ожидающих наглядности, чтобы сообразить ее... Во Франции один из лучших наших агентов, буржуа, уже провозгласил новую программу наглядного воспитания.

ПРОТОКОЛ № 17-й

Адвокатура. Влияние священничества гоев. Свобода совести. Папский двор. Царь Иудейский, как патриарх-папа. Способы борьбы с су-

ществующей Церковью. Задачи современной прессы. Организация полиции. Добровольческая полиция. Шпионство по образцу кагального шпионажа. Злоупотребление властью.

Адвокатура создает людей холодных, жестоких, упорных, беспринципных, становящихся во всех случаях на безличную, чисто легальную почву. Они приучились все относить к выгоде защиты, а не к социальному благу ее результатов. Они обыкновенно не отказываются ни от какой защиты, домогаются оправдания во что бы то ни стало, придираясь к мелким загвоздкам юриспруденции: этим они деморализуют суд. Поэтому мы эту профессию поставим в узкие рамки, которые заключат ее в сферу исполнительного чиновничества. Адвокаты будут лишены наравне с судьями права общения с тяжущимися, получая дела только от суда, разбирая их по докладным запискам и документам, защищая своих клиентов после допроса их на суде по выяснившимся фактам. Они будут получать гонорар, невзирая на качество защиты. Это будут простые докладчики дел в пользу правосудия в перевес прокурору, который будет докладчиком в пользу обвинения: это сократит судебный доклад. Таким образом, установится честная беспристрастная защита, веденная не из интереса, а по убеждению. Это, между прочим, устранит практикующиеся ныне подкупы товарищей, их соглашение дать выигрыш делу только того, кто платит...

Священничество гоев мы уже озаботились дискредитировать и этим разорить их миссию, которая ныне могла бы очень мешать. С каждым днем его влияние на народы падает. *Свобода совести провозглашена теперь всюду, следовательно, нас только годы отделяют от момента полного крушения христианской религии;* с другими же религиями мы справимся еще легче, но об этом говорить преждевременно. Мы поставим клерикализм и клерикалов в такие узкие рамки, чтобы их влияние пошло обратно к своему прежнему движению.

Когда придет время окончательно уничтожить папский двор, то палец от незримой руки укажет народам в сторону этого двора. Когда же народы бросятся туда, мы выступим как бы его защитниками, чтобы не допустить до сильных кровопусканий. Этой диверсией мы проберемся в самые его недра и уже не выйдем оттуда, пока не подточим всю силу этого места.

Царь Иудейский будет настоящим папою вселенной, патриархом интернациональной церкви.

Но, *пока* мы перевоспитаем юношество в новых переходных верах, а затем и в нашей, *мы не затронем открыто существующие церкви, а будем с ними бороться критикой, возбуждающей раскол...*

Вообще же наша современная пресса будет изобличать государственные дела, религии, неспособности гоев, и все это в самых беспринципных выражениях, чтобы всячески унизить их, так, как это умеет делать только наше гениальное племя...

Наше царство будет апологией божка Вишну, в котором находится олицетворение его, — в наших ста руках будет по пружине социальной машины. Мы будем все видеть без помощи официальной полиции, которая в той форме ее прав, которую мы выработали для гоев, мешает правительствам видеть. При нашей программе *треть** *подданных наших будет наблюдать за остальными* из чувства долга, из принципа добровольной государственной службы. Тогда не будет постыдно быть шпионом и доносчиком, а похвально, но необоснованные доносы будут жестоко наказуемы, чтобы не развелось злоупотребление этим правом.

Наши агенты будут из числа как высшего, так и низшего общества, из среды веселящегося административного класса, издатели, типографы, книгопродавцы, приказчики, рабочие, кучера, лакеи и т. д. Эта бесправная, не уполномоченная на какое-либо самоуправство, а следовательно, безвластная полиция будет только свидетельствовать и докладывать, а проверка ее показаний и аресты будут зависеть от определенной группы контролеров по делам полиции, сами же аресты будут производить жандармский корпус и городская полиция. Не донесший о виденном и слышанном по вопросам политики тоже будет привлекаться к ответственности за укрывательство, если будет доказано, что он в этом виновен.

Подобно тому, как ныне наши братья под собственной ответственностью обязаны доносить кагалу на своих отступников или замеченных в чем-либо, противном кагалу, *так в нашем всемирном царстве будет обязательно для всех наших подданных соблюдать долг государственной службы в этом направлении.*

Такая организация искоренит злоупотребления властью, силой, подкупом — все то, что мы ввели нашими советами, теориями сверхчеловеческих прав в привычки гоев... Но как же нам иначе было бы и добиться увеличения причин к беспорядкам среди администрации, как не этими путями?!. В числе же этих путей один из важнейших — это агенты водворения порядка, поставленные в возможность своей разрушительной деятельности проявлять и развивать свои дурные наклонности — своеправие, своевластие и в первую голову взяточничество.

---

* Поразительное совпадение с третью ангелов, отпавших от Бога!.. И при такой-то системе воображать, что возможна устойчивость грядущего царства! Это ли не безумие дьявола, возомнившего бороться с Богом?

Окончание следует

Георгий Соловьев

ТОРЖИЩЕ ФАЛЬШИ

НЕВЕСЕЛЫЕ ЗАМЕТКИ О "ДЕМПРЕССЕ"

Им нужны великие потрясения,
нам нужна великая Россия.
П. А. Столыпин.

1. РЕАЛЬНОСТЬ БЕЗ ГРИМА

Наше общество ныне завязло в "неодемократизме". Твердо уверовав будто это единственный путь и универсальное средство защиты социально ущемленных слоев (а заодно и решение всех проблем!), мы и не чаем другого. Принимаем собственные заблуждения за высшее просветление.

Думаю, виной тому неизбывная мечта о жизни хорошей, обещанной сладкоголосыми радикалами-популистами. (Надо-де только консерваторов прищучить, Союз распустить, ну и еще кое-что по мелочам, а на следующий день — рай без визиток и продуктовых карточек, национальных конфликтов и с Ельциным вместо солнца.) Но вся беда в том, что одно дело вообразить и совсем другое — воплотить в реальность. Мы остаемся мечтателями, мало задумывающимися над возможностями и путями достижения желанной цели. Осуждать за эти мечты кощунственно: натерпелся наш народ под разными реформаторами-экспериментаторами немало и элементарно нормальную жизнь — заслужил. Но и бросаться в омут иллюзорного мира навязанных путей и ориентиров постыдно. Ибо в этом спектакле, разыгрываемом новыми "друзьями народа", мы все приглашены на роли послушных статистов, каждый шаг которых утвержден по с ц е н а р и ю.

Во многих изданиях, которые захлестнула волна "демократических" настроений, объективность освещения событий стала анахронизмом. Громко заявленная доктрина т. н. плюрализма мнений сильно дала крен на один бок и, по существу, подменена провокационным маневром очернения всего того, что не вписывается в прокрустово ложе "новой демократии". Гласность же тоже приобрела какой-то выморочный криминально-сексуальный окрас и свелась к панорамированию хроники преступлений и всяческих половых извращений от некрофилии до чуть ли не пропагандируемой сегодня однополой любви.

Все это, безусловно, нагнетает и без того накаленную обстановку в стране.

Для чего нашим "демократам" это, казалось бы, нужно? Ответ немудрен, а цель стара, как мир — дабы з а х в а т и т ь власть. Сходу, через съезды и референдумы, законным, так сказать, путем не удалось. Тогда из пронафталиненного сундучка времен октябрьского переворота были извлечены приемы баррикадной войны (кампания дискредитации доверия к существующему госаппарату, организация различных митингов, забастовок, демонстраций протеста и т. д. и т. п.).

Причем наивным было бы считать, что делается это для облегчения жизни народа. Народ "демократам" нужен как ш т у р м о в о й т а р а н при взятии цитадели власти. А потом, по доброй традиции, будет не до народных нужд и данных ему обещаний — "мавр сделал свое дело, мавр может уйти". Кстати, если исходить из "неодемократического" постулата, что союзный госаппарат долгие годы "пьет кровь" народа, то трудно себе представить с какой энергией начали бы это делать изголодавшиеся в ожидании своего часа "новые народные правители"...

Клевета на демдвижение? Но отчего же — все нынешние "демократические" лидеры, по выражению политолога А. Ципко, родом из КПСС, имеют одну и ту же закваску. Ну а мимикрия — дело наживное...

Однако, разобравшись немного в сути целей "неодемократов", вернемся к рассмотрению их прессы и системы "запудривания мозгов", исповедуемой ею.

стов и лесбиянок, а также для пополнения их рядов, прозаик Юрий Маркович Нагибин рассказал сначала на страницах "Мегаполис Экспресс", а потом в самарской эротической газетке "Яблоко" (ноябрь, 1990 год) о трагической судьбе П. И. Чайковского. Цели у Ю. М. Нагибина были, конечно, благие — просветительские. "Меня удивило, что многие из опрошенных понятия не имели о нестандартной физиологии композитора", — пишет он и чуть ниже сочно повествует: "И еще раз Петр Ильич пытался обмануть природу: он женился на Антонине Ивановне Милюковой, нимфоманке и авантюристке, ловко прикинувшейся музыкантшей и его страстной поклонницей. На редкость удачный выбор! В первую же брачную ночь его постиг нервный припадок, он кричал, трясся, плакал, терял сознание..." Какая насыщенная палитра деталей, такое впечатление, что Юрий Маркович в сей исторический момент рядом со свечой стоял или по меньшей мере знает о подобных переживаниях не понаслышке — вот что значит художник слова! А посему, спасибо вам, товарищ член Союза писателей, что в полупорнографической газетке опубликоваться не побрезговали, байку о "нестандартной физиологии" Петра Ильича нам несся...

Вот так, порождая деструктивную волну в обществе и одновременно пытаясь починять политический рейтинг своих хозяев, усердствует демпресса.

Теперь, думаю, пришло время задержать взгляд на "демократической" журналистике Кубани. Наряду с общей для всех "демократов" направленностью, здесь есть своя местная специфика, на которой не безынтересно остановиться.

"Газета — это единственный вид продукции, на который нет дефицита", — пишет в региональной газете "Северный Кавказ" Т. Василевская, недавно расставшаяся из-за "демократических" устремлений с газетой "Советская Кубань". С этим наблюдением журналистки трудно не согласиться. Газет на Кубани издают немало, и вот в этом информационном море важно научиться отличать истинного защитника народных интересов и культуры от "демократического" профанатора, который завлечет нас к идеологическому водовороту и потом с удовольствием будет наблюдать как мы тонем в нем...

Традиционными рупорами кубанской журналистики считаются газеты "Советская Кубань" и "Комсомолец Кубани". Первая находится после недавней тяжелой болезни псевдодемократизма, куда ее ввергла бывший главный редактор, сотоварищи. Теперь у "Советской Кубани" новый рулевой — и курс ее значительно выровнялся: исчезло изобилие полубульварных материалов, зачастую состряпанных по рецептам "Демроссии" или Н. Травкина. Но газету по старой памяти еще заносит — то рекламу газеты "Карт-бланш" с домыслами Роя Медведева о смерти Ю. В. Андропова напечатают, то репортажами о НЛО, полтергейсте и прочей чертовщине побалуют, то еще чем-нибудь подобным развлекут. Так что тут еще предстоит решать, чего больше хочется: то ли серьезную газету делать, то ли народ полтергейстами пугать.

Зато проблема выбора не стоит перед краевой молодежкой "Комсомолец Кубани". Меняются главреды (предшественник последнего ударился в собственную коммерцию — выпускает частную газету "Карт-бланш"), а газета все больше становится похожей на бульварный листок, да еще с псевдодемократическим душком.

В начале февраля текущего года редакция краевой молодежки пожаловалась своим читателям на нехватку бумаги, из-за чего вместо пяти обычных газет некоторое время будет выходить лишь три "шестиполоски"... Проблемы нехватки бумаги нам всем глубоко понятны (вот только почему-то у "демократической" прессы перебои с бумагой временные, а у остальных хронические... ну, да это другой вопрос).

Что же несет своим читателям "Комсомолец Кубани" и поток чего временно был вынужден сузить из-за нехватки бумаги?

В номере от 6.02.91 значительное место первой полосы занимает поздравление. Угадайте, кому? Не угадаете — Рейгану. "Сегодня у 40-го президента США — день рождения", — сообщает газета. — "Уважаемый господин Рейган, мы поздравляем Вас с 80-летним юбилеем. Желаем Вам сибирского здоровья, успехов в труде и счастья в личной жизни, или, как говорят у вас на родине, best wishes!" Так вот по-домашнему поздравляют бывшего президента США комсомольцы Кубани. У меня вообще сложилось впечатление, что редакцию краевой молодежки (а может ее главного редактора Ю. Зайцева) связывают какие-то неформальные отношения с американскими президентами и их семьями. Иначе чем объяснить, что, отразив прошедший полузамеченным в самой Америке юбилей Рейгана, газета на этом не остановилась и 16 февраля отдала всю четвертую полосу фотографиям Барбары Буш в различных ракурсах, среди которых затерялась небольшая дифирамбически-биографическая статья о вышеназванной особе Майкла Маккуина (это должно быть новый корреспондент "Комсомольца Кубани").

Вообще со сменой главных редакторов "КК" меняет практику подачи материалов лишь в визуальном плане: при Н. Семенове это была просто обычная, тяготеющая к бульварной прессе, газета. Ю. Зайцев оказался новатором — любителем крупномасштабных иллюстраций при минимуме текста (все это, к слову, при жалобах на нехватку бумаги). Так к открытию в Краснодаре литовской выставки эротической фотографии краевая молодежная газета отдала всю первую страницу номера от 14 февраля фотографии обнаженной девицы. Тут же, как подтверждение тезиса "слов нет — одни эмоции", несколько строк корреспондента газеты Ал. Воскобойникова: "Красота-то какая! Зайдешь на эту выставку — и все тревоги о положении литовцев мигом улетучиваются. Да разве могут делать подобные снимки люди, озверившиеся в межнациональной борьбе! Взгляните на эту фотографию. Не верится, чтобы такая симпатичная девушка думала лишь о том, будет ли Литва действительно независимой республикой или не будет. Скорее всего она ни о чем не думает". Видите как легко? Посмотрел на обнаженную фотомодель — и ушли глупые мысли... Все гениальное, поистине, просто. Завершается этот опус ерническим соизволением автора: "Ханжам разрешаем этот снимок вырезать из газеты и сжечь. Можно без свидетелей".

Спасибо. Мы уж лучше его вырежем и будем ездить с ним по нашим республикам с миротворческой миссией. Авось кто "охолонет" по вашему примеру...

Поймал себя на мысли — а не излишне ли я пристрастен к краевой молодежке? Но нет, одно дело, если бы эти ребята читали то, что они пишут друг другу, негромко и при тусклом свете керосиновой лампы, но они же тиражируют эти опусы в многих тысячах экземпляров, одурманивая своих не очень взрослых читателей.

Вот только одна иллюстрация, взятая наугад из номера газеты за 9.02.91 г.

Это — соцпрогноз корреспондента газеты М. Кибальника, называющийся "Утро 9 февраля 1993". Автор перелицевал эпизоды бестселлера Кабакова "Невозвращенец" на кубанский манер и решил, вероятно, что это и называется журналистикой: "Проснулся я как всегда в шесть, но не по будильнику, а от сухого треска "дегтярева", который с крыши университета бил куда-то в сторону Дубинки /.../ Около секс-клуба "Болгария" (раньше был кинотеатром) пришлось полчаса проваляться в снегу: человек пятнадцать — то ли адыги, то ли линейные казаки — прямо на морозе обыскивали запоздавших клиентов "Болгарии"... "Остается уповать лишь на то, что корреспондент "Комсомольца Кубани" не столь силен в провидении событий, как в журналистике.

Есть и еще одна газета, без которой разговор о "демократической" прессе Кубани будет неполон. Еженедельник "Юг". Учредитель, главный редактор и одновременно основной автор его Ю. В. Зенюк, человек, безусловно, более поднаторевший в "демократическом" толковании жизненных коллизий, нежели его юные собратья из "Комсомольца Кубани". Так, например, в первом же номере своего еженедельника он умудрился оплевать сразу первого секретаря крайкома КПСС А. Маслова, назвав его "котом, вылезающим из мешка" и экстремистом-провокатором, а потом — председателя Краснодарского краевого Совета народных депутатов Н. Кондратенко, заклеймив того по контрасту с сутью — "агентом сионизма".

Дальше — больше. Весь "демократический набор" налицо: от укусов Ленина до посрамления нынешней "коммунистической диктатуры", то есть того, что уже давным давно отыграно и, как "бородатый" анекдот, вызывает лишь зевоту.

Но и это — полбеды. Пикантность в другом. Если бы на газетных страницах "Юга" клокотали праведным гневом битые-перебитые режимом, — это было бы понятно. Но бушуют — примитивные антикоммунисты — в совсем недалеком прошлом бывшие пламенными партийцами, отчаянными комсомольцами или собкорами официозного АПН (как Ю. В. Зенюк). Не столько ратуя за идею, сколько стремясь по-мелочному, втихаря нахапать в свой, отдельный карман морального капитальца.

Катастрофа страны, почти лишившая ее жизнеспособности и перепахавшая судьбы и многолетние заслуги перед Родиной простого люда, легко сведена к тому, что во всем виноваты "коммунисты"; а потому Е., вышедший из партии, лучше и честнее Г., который в ней остался, и вообще — новые политики всегда лучше старых (монархисты хуже эсеров, эсеры хуже большевиков, большевики хуже демократов, а демократы...). Раньше такую "логику" называли софистикой и соответственно к ней относились.

Мы внимаем этим в ударном порядке перековавшимся прорицателям, они же никакой нравственной ответственности за наши искалеченные души не несут.

...Нанесен последний штрих, портрет "демпрессы" в общих чертах закончен. Мрачненький получился, ну да это уж не вина автора. Какой есть. Однако не хочется заканчивать на минорной ноте, поэтому еще несколько строк.

На пересечении краснодарского "арбата" привычна фигура продавца "демократической" прессы. Изнуренное политическими страстями лицо, картаво-бубнящий голос:

— Покупайте газеты "Меньшевик", "Балтийское время", "Радиодайджест". Темы дня — "Борис Ельцин не сдается", "Десять любовниц Горбачева"...

Но никто не покупает. К людям приходит отрезвление от "демократического" дурмана. И слава Богу...

Главный редактор **В. А. КАНАШКИН**

Редакционная коллегия: **БОНДАРЧУК С. Ф., ГОРЕЛОВ П. Г., ЗАХАРЧЕНКО В. Г., ЗНАМЕНСКИЙ А. Д., КНЯЗЕВ А. А., КУЗНЕЦОВ Ю. П., ЛАСТОВКИН Ю. В.** (зам. главного редактора), **ЛИЧУТИН В. В., ПРИДИУС П. Е., СОЛОВЬЕВ Г. М.** (ответственный секретарь)

Технический редактор **ГЛОВА О. В.**
Корректор **РУБЦОВА В. А.**

Сдано в набор 22. 05. 91. Подписано в печать 17. 07. 91 г. Формат бумаги 70x100/16. Бумага типографская № 2. Уч.-изд. л. 11,57. Тираж 60 000. Заказ 479. Адрес редакции: 350650, Краснодар, а/я 69, ул. Коммунаров, 59. Телефоны: главный редактор— 52-29-44, заместитель главного редактора, секретариат— 59-22-60. Типография издательства "Советская Кубань". 350680, Краснодар, ул. Шаумяна, 106.

Редакция принимает только первые экземпляры не публиковавшихся ранее рукописей, отпечатанных на машинке.

Рукописи объемом меньше печатного листа не возвращаются.
Рукописи, присылаемые членам редколлегии, к рассмотрению не принимаются.

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЧИТАЙТЕ:

И. СОЛОНЕВИЧ. Россия в концлагере
П. КРАСНОВ. От Двуглавого Орла к Красному Знамени
Н. СЕЛЯНИНОВ. Тайная сила масонства
АН. ИВАНОВ/СКУРАТОВ/. Роковой день России /9 января 1905 года, или Заговор слева/
И. ИЛЬИН. Государственный смысл Белой армии
С. БУЛГАКОВ. Церковь

Подписка принимается без ограничений во всех отделениях связи и агентствах Союзпечати с любого месяца.

Индекс 73607

Розничная продажа за пределами Краснодарского края ограничена.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Журнал "Кубань", орган Союза писателей России, выходит с января 1991 года.

Для желающих подписаться на него сообщаем: Индекс 73607, подписная цена на 6 месяцев — 7 руб. 20 коп., на 3 месяца — 3 руб. 60 коп.

Стоимость журнала в розничной торговле — 1 руб. 50 коп.

Тем, кто хотел бы приобрести предыдущие номера журнала за 1991 г., советуем обратиться в редакцию по адресу:

350650, Краснодар, а/я 69, ул. Коммунаров, 59, Арустамян Инне Юрьевне.

РЕДАКЦИЯ